



Казимир Валишевский
Дочь Петра Великого

«Public Domain»

1902

Валишевский К. Ф.

Дочь Петра Великого / К. Ф. Валишевский — «Public Domain», 1902

«Она была дочерью Петра Великого. Родившись вдали от трона, она была вознесена на него, потому что в ее жилах текла кровь величайшего из Русских и одного из самых замечательных людей, когда-либо существовавших. Если бы она даже не имела никаких других прав на наше внимание, все-таки было бы удивительно, что ни в России, ни в других странах ей до сих пор не было воздвигнуто исторического памятника, где была бы освещена вполне роль, сыгранная ею в истории ее отечества. Но ее судьба и личность интересны и в других отношениях. В силу своего происхождения от Петра Великого и несмотря на выдающееся участие иностранцев в ее восшествии на престол, ее царствование ознаменовалось, между регентством Бирона или Анны Леопольдовны и правлением Екатерины Ангальт-Цербстской, таким расцветом национального чувства, какое России не скоро еще пришлось пережить...»

© Валишевский К. Ф., 1902

© Public Domain, 1902

Содержание

Предисловие	5
Часть первая	11
Глава первая	11
I. Первые годы	11
II. Движение в казармах в пользу цесаревны	16
III. Отношения Елизаветы к Франции и Швеции	18
IV. Неожиданное стечение обстоятельств ускоряет развязку заговора	25
V. Ночь 24 ноября	26
Глава вторая	30
I. Восшествие на престол	30
II. Брауншвейгская фамилия	32
III. Другие жертвы переворота	35
IV. Новый штат	39
V. Коронование	43
Глава третья	46
I. Нравственный облик	46
II. Двор и внутренняя жизнь	51
III. Интимные нравы. Ночной император	58
IV. Дарования и политическая роль Елизаветы	67
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Казимир Валишевский

Дочь Петра Великого

Предисловие

Она была дочерью Петра Великого. Родившись вдали от трона, она была вознесена на него, потому что в ее жилах текла кровь величайшего из Русских и одного из самых замечательных людей, когда-либо существовавших. Если бы она даже не имела никаких других прав на наше внимание, все-таки было бы удивительно, что ни в России, ни в других странах ей до сих пор не было воздвигнуто исторического памятника, где была бы освещена вполне роль, сыгранная ею в истории ее отечества.

Но ее судьба и личность интересны и в других отношениях. В силу своего происхождения от Петра Великого и несмотря на выдающееся участие иностранцев в ее восшествии на престол, ее царствование ознаменовалось, между регентством Бирона или Анны Леопольдовны и правлением Екатерины Ангальт-Цербстской, таким расцветом национального чувства, какое России не скоро еще пришлось пережить.

Елизавета ни своим нравом, от природы беспечным и причудливым, ни небрежным воспитанием, полученным ею, не была подготовлена к занятию престола. Но в качестве дочери Полтавского героя, ей все же удалось вознести славу русского оружия, впервые боровшегося в сердце Западной Европы с грознейшим из противников, на высоту, едва ли превзойденную им с той поры.

Наконец, если она в недобрый час и взяла себе в наследники Петра III, то ее счастливая звезда – или счастливая звезда России – внушила ей мысль выбрать ему в подруги несравненную принцессу, ставшую впоследствии Екатериной Великой.

А какими словами обрисовать картинную и романическую сторону ее судьбы и царствования, не имеющих, может быть, равных себе в современной истории и своим причудливым рисунком и резкими противоположностями сбивавших с толку то недовольную, то очаровательную, то негодующую, то восхищенную Европу! Безумная роскошь и ужасающая нищета; мягкость и жестокость; косность и героизм; грубый разврат и ревностное благочестие; в течение двадцати лет Россия являла миру эти противоположности, сохранив и до наших дней глубокий след нравов, образа мыслей и чувств, выработавшихся в те времена.

Меня упрекали прежде в чрезмерном пристрастии к этим прихотливым картинам прошлого. С тех пор моим критикам не трудно было убедиться в том, что я не искал их преднамеренно, но и не отстранял их, когда они представлялись наблюдению историка и настойчиво внедрялись в его сознание. Впрочем, я убежден, что между моими критиками и мною произошло лишь недоразумение и смешение причины со следствием. Эту распрю можно сравнить с упреком, брошенным степным жителем кавказскому горцу: «Вы мне показываете одни только горы!» Но история России XVIII века вовсе не походит на альпийский пейзаж; она напоминает скорей земной рельеф в космогонический период. Мы присутствием здесь при рождении нового мира. Не один роман и драма были написаны на основании материала многих глав, вошедших в состав этой книги. К сожалению, авторы напрасно изукрашили их чертами совершенно ненужного вымысла, хотя и неприкрашенная действительность далеко превосходит здесь все, что могло бы измыслить воображение всех Дюма, взятых вместе.

Продолжительное владычество женского элемента само по себе должно было наложить романический отпечаток на эту эпоху; Елизавета приняла скипетр, уже пятнадцать лет

находившийся в женских руках и так и оставшийся в них до конца столетия, хотя не существовало закона, устанавливавшего или охранявшего женодержавие. Страна самовольно создала эту теорию престолонаследия по женской линии и подчинилась власти целой серии государынь. Но она так же самовольно и свергла их. Освободившись от гнета создателя народного величия, дух анархии и страсть к приключениям, свойственные славянскому темпераменту или, скорее, лежащие в основе всякого нарождающегося общества, предъявили свои права к существованию под различными видами. Одним из них было женодержавие, другим – господство фаворитов.

Оба эти обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали возникновению различных легенд и анекдотов, прельстивших, по мнению моих критиков, и меня. Но я нахожу в них удовольствие, когда они занимательны, и не уклоняюсь от обязанности воздать им должное, когда они ложны. Последнее случается девять раз из десяти. Но и в этом случае я считаю возможным вылучить из них зерно истины. Каким образом? Я уже это объяснял в другом месте и от своих слов не отказываюсь. Путем сопоставления и согласования.

– Неужели количество их может служить ручательством за их качество?

Таково было сделанное мне возражение. Оно меня не поколебало. Если вы обратитесь к двум людям, бегущим по улице, с вопросом, куда они спешат, то один из них скажет, что горит театр, другой – что пожарные поскакали в Думу. Вы не будете далеки от истины, предположив, что действительно где-нибудь показался дым.

Женщину, имеющую, согласно преданию, двадцать фаворитов, мне трудно считать безупречной, хотя бы я не собирался делать из этого факта никакого другого вывода. Не достаточно ли и того, что история указывает подобные явления?

По мнению некоторых критиков, я слишком сдержан в своих заключениях. Действительно, я не считаю себя торговцем достоверных сведений, и хотя один из самых блестящих моих собратьев и считает возможным утверждать, что Юлий Цезарь чихнул три раза, переходя в известный час известный ручеек в Галлии, я все же не принадлежу к этой школе.

Но вот перед нами пирожник, превращающийся в регента могущественной империи и обручающий свою дочь с императором; вот императрица, бывшая прачкой или маркитанткой; вот другая императрица, захватывающая власть, проникнув ночью во дворец, где спит едва отнятый от груди ребенок, мнимо-законный государь, и выкрадывающая его с помощью горсти сопровождавших ее гренадер: все это, конечно, сказки и мне пришлось бы краснеть за себя, если бы я их сочинил. Но разве я могу не считаться с ними, когда неопровержимая действительность записала их в прошлом многострадального стомиллионного народа? Они составляют существенную часть его жизни и его исторической эволюции в эпоху, требующую изучения всех этих подробностей и малейших изгибов чудесной судьбы этого народа, – изучения, необходимого для понимания его настоящего облика.

Сознавая долг, налагаемый на меня этим положением вещей, и стараясь выполнить его по мере сил, мне неизбежно пришлось вызвать другого рода споры и довольно резкие, хотя и противоречивые укоры. С одной стороны, меня обвиняли в том, что я поношу Россию, даже клевету на нее, с другой – считали меня низким льстецом. Эти маленькие злоключения меня также не смутили. Я их ожидал; скажу больше; я надеялся, что они возникнут. Я вижу в них доказательство того, что я приблизился, по крайней мере, – не рассчитывая на достижение его, – к идеалу беспристрастия, являющемуся нашей общей целью, высокой вершиной, куда должны устремляться наши усилия. Доступ к ней усеян шипами и терниями; я не жалею на выпавшие на мою долю уколы. Но мне сдается, что уязвленные моими исследованиями чувства коренятся, главным образом, в ложном понимании как цели, преследуемой мной, так и предмета всякого исторического изыскания.

Один русский критик не побоялся даже утверждать, что если я взял на себя роль толкователя двух различных миров, то мне по необходимости приходилось жертвовать одним из них, и что пожертвованным должен был оказаться тот, где говорят на языке Пушкина.

Почему, скажите, жертва эта обязательна? Истина – богиня, не требующая принесения жертв на ее алтарь. Ей нужны только беспристрастные умы и искренние сердца.

Более полувека тому назад Чаадаев рисковал пожизненным заточением за то, что высказал своим соотечественникам несколько жестоких истин, признанных впоследствии многими из них справедливыми. Меня уж никто не собирался заключать в тюрьму. Нетерпимость, обрушившаяся на мой труд, стояла, кажется, в связи лишь с моим происхождением, в подражание своенравной вспышке великого национального поэта, справедливо составляющего гордость России и сказавшего, что, хоть он и презирает свое отечество с головы до ног, но не терпит, чтобы иностранец разделял это чувство. Мне крайне неприятно касаться здесь личного вопроса, но он, к сожалению, занимает слишком большое место, даже вне России, в критике моих книг, чтобы я мог считать его, как бы мне того ни хотелось, не заслуживающим внимания. Иностранец ли я? В качестве Поляка, пишущего на французском языке главы русской истории, я могу считать себя принадлежащим к некоторой исторической общине народов, еще недавно казавшейся парадоксальной, но силою обстоятельств превратившейся в живую действительность. А чтобы жить общею жизнью, необходимо друг друга узнать.

Руководствуясь этим чувством, я принялся за изучение прошлого одного из членов этой общины, изучение, свободное от всяких побочных соображений, и повел его безусловно самостоятельно и в духе неизменной искренности, наложившей, я полагаю, свою печать на мои труды. Если вследствие заблуждений, неизбежных во всяком человеческом деле, оно и отклонилось от начертанного пути, то происхождение мое тут ни при чем. Я искал лишь истины. Но я хотел, не скрою, обрести ее во всей ее полноте и раскрыть ее без ограничений и без покрывал, такую, какую предание и пластические искусства изображают ее, выходящую из колодца.

В рамках, избранных мною, как более всего отвечающих не только моим наклонностям и способностям, но и вкусам и потребностям читающей публики, я, кажется, не упустил ни одного из серьезных элементов научного исследования. Но я, каюсь, старался использовать их, не нагоняя ту скуку, которая, оказывается, является теперь обязательной, согласно требованиям профессиональной этики. Основательны ли эти требования? Согласны ли они со славными традициями ремесла? Хотелось бы мне сослаться на Светония, а то и на Тацита. Но помимо этих старинных образцов, другие, более современные и, следовательно, более авторитетные, оказались отвергнутые большинством моих собратьев, находящихся под влиянием нового и упорного веяния, побуждающего их подражать суровости точных наук. Если бы, по крайней мере, ими цель была достигнута! Но какое это заблуждение! Какое смещение совершенно различных областей! Возьмите берлинское или лейпцигское издание полного собрания сочинений математика или химика: я убежден, что в нем не будет выпущена ни одна запятая. А чего только не хватает в переписке Фридриха Великого, изданной там же! И для кого же эта наука? Те времена далеки, когда Тьер увлекал читателей «*Constitutionnel*» своей «Историей Французской революции». Если бы «*Constitutionnel*» еще существовал, то его подписчики искали бы тех же впечатлений в чтении сенсационного романа. История сделалась постепенно областью, доступной исключительно все более и более суживающемуся кругу избранных. Но не равносильно ли это крушению ее настоящей цели? Не является ли она *magistra vitae*? А кем создается умственная, экономическая, даже политическая жизнь в наши дни? Учеными? Конечно, нет. Все в ней принимают участие, вплоть до рассыльного, стоящего на перекрестке улиц. Следовательно, всех и надо

просвещать, на всех проливать лучезарный свет, идущий из глубины нашего прошлого. А вы хотите запереть его в академию!

Один русский историк – перед знанием и талантом его я во всяком случае преклоняюсь и до сих пор оплакиваю его смерть – В. А. Бильбасов назвал мои книги романами. Я готов принять это за похвалу. Да, излагая перед читателями содержание хотя бы и дипломатических документов, я считаю возможным сделать чтение их не менее привлекательным, чем фельетон. Это достижимо при условии устранения из них всего того, что не представляет действительного интереса, т. е. девяти десятых большинства текстов, и введения в них того, что составляет прелесть всего человеческого: жизни. Если это мне не удалось, то лишь за недостатком таланта, – за отсутствием также некоторых умственных навыков, утерянных ныне большой публикой. Тут приходится воспитывать или перевоспитывать ее. Некоторые писатели во Франции уже приступили к этому делу, вкладывая в него искусство, недостижимое для меня; но в их начинании я черпаю оправдание, поощрение и надежду.

Ведь произведения Генриха Гуссе, Фредерика Массона, несмотря на обилие в них документальных данных, и Лависса и Лампрехта, невзирая на точность их изысканий, не уступают по живости и прелести языка излюбленным авторам читающей публики.

Но и на этом пути встают препятствия и попадаются камни преткновения. Одним из них было бы смешение видов научных работ, указанное одним выдающимся критиком. Я высказывал, действительно, мнение, что труд историка стоит в более тесной связи с искусством, чем с наукой, не утверждая, конечно, что он не научен. Но ограничить не значит исключить. Я все же полагаю, что в силу своих естественных пределов и специального назначения, исторический труд ничем не походит ни на труд математика, ни на труд химика; за отсутствием непосредственного наблюдения, картины, воскрешаемые историей в зеркале с потертой амальгамой, со стеклом, отбитым в многих местах, не могут хвалиться безусловной точностью; к тому же польза истории мне понятна лишь в том случае, когда она, наполняя зрение масс отражением прошлого, тем самым обостряет в них видение настоящего и предвидение будущего; таким образом, исторический труд не только самонадеян, но и лжив, если считает себя непогрешимым, и бесполезен, и не оправдывает своего существования, если он не популярен. Для того, чтобы построить мост, установить электрическую батарею, привести в движение паровоз, достаточно одного ученого и известного количества рабочих; для того, чтобы создать один час человеческой жизни, нужен целый народ.

С Елизаветой прямое потомство Петра Великого привилось через сестру императрицы к иноземному стволу. Я не преувеличиваю значения этого события. И на троне, и в других областях жизни большинство великих исторических имен продолжают существовать лишь путем передачи по боковой линии. Женская наследственность считалась в некоторых странах более целесообразной в силу того, что ее можно более точно установить.

Как историк, я не могу, однако, отрицать значения традиций, олицетворенных дочерью Петра Великого, и упадка, постигшего их после ее смерти. Петр III родился в Киле и до 13 лет воспитывался в лютеранской вере и в поклонении перед своей немецкой родиной: мы знаем, чем он стал, и по какому пути он направил политику России.

Будучи немкой по отцу и матери, Екатерина, в противоположность своему мужу, приложила все старания к тому, чтобы вместе с языком и нравами усвоить и дух своего нового отечества. Удалось ли ей это? В значительной мере удалось. Она сумела сделаться настоящей русской Матушкой-Царицей, и это и составляет, может быть, самый прекрасный луч ее славы. «Ни в одной истории не встречается ни лучших, ни более великих людей, чем в нашей», писала она про русских немцу Гримму. Но вместе с тем, ей случалось писать ему же: *Das ist unmöglich, dass ich mir sollte auf der Nase spielen lassen...* Ни один немец этого не потерпит».

В этих словах она выдала тайну своего внутреннего «я» с роковой двойственностью, вытекавшей из ее происхождения, обнаружив умственное и нравственное сродство, тысячью невидимых нитей связывавшее ее с ее домашним очагом, с первоначальным воспитанием, с ее расой; распространяясь от ее ума и сердца на ее управление, проникая в самую душу народа, который великая государыня лепила по своему образу и подобию, оно наложило на это управление и на эту душу печать, неизгладимую и по сию пору.

Если мы от внешней политики этого ослепительного царствования перейдем к внутренней, то увидим, что она отчеканена по тому же образцу. Сравните национальную литературу, современную Елизавете, с литературными памятниками, оставленными нам последовавшим за нею так называемым «золотым веком»; поставьте рядом Ломоносова и Державина, и разница станет ясна. В этом-то и состоит значение и особая прелесть предшествовавшего Екатерине царствования, вызванного мною к жизни на предлагаемых страницах. Менее пышное, оно кажется более самобытным и потому более симпатичным.

Образ Елизаветы, гораздо менее яркий, тоже не лишен очарования. В рамке, окружающей ее, она даже с известной точки зрения интереснее своей преемницы, потому что она здесь совершенно на месте. Она представляет собой чисто русский и чрезвычайно любопытный тип.

Еще любопытнее рамка сама по себе. Являя сначала взору пятнадцать лет внутреннего и внешнего мира, между революционными грозами прошлого и грядущими бурями, этот фазис национальной жизни дает нам возможность изучить ее черты в состоянии сравнительного покоя и впервые при пленительной обстановке, – праздничной, безмятежной, чарующей, неизвестной стране Ивана Грозного и долгое время к ней не возвращавшейся. Одновременно возникают зачатки умственной жизни, художественной культуры, общественности. Затем настает внезапное оживление дипломатических сношений, вовлекшее страну в близкое общение с европейскими дворами.

Наконец, разражается Семилетняя война – великолепная военная эпопея, обнаружившая не только перед турками и шведами, но перед всей Европой военные доблести русского народа. Гросс-Эгерсдорф и Кунерсдорф, Фридрих, доведенный до отчаяния, нарождающийся имперский орел Гогенцоллернов, едва не раздавленный «расходившимся медведем», – торжество, какого России впоследствии не пришлось уже пережить!

Стоило оно, конечно, дорого, и я укажу прямо, ценою каких несчастий, каких бед покупались эти внешние победы. Но и эта сторона картины не менее достойна нашего внимания.

Внутренняя история этого царствования еще не написана даже в России. Один английский историк утверждает, что ее вовсе не существует. Постараюсь доказать противное, не надеясь, однако, совершенно заполнить этот пробел. В связи с историей всех европейских стран историческое описание внешней стороны царствования Елизаветы предпринималось не раз. Мне придется внести в него некоторые поправки. В архивах министерства иностранных дел во Франции мне удалось разыскать несколько документов, ускользнувших от внимания моих предшественников и проливающих новый свет на некоторые эпизоды, между прочим на первые попытки сближения между Россией и Францией и на роль, сыгранную при этом секретной дипломатией. В тайных архивах в Берлине мне еще более посчастливилось. Политическая переписка Фридриха, изученная мною отчасти в оригиналах, дала мне возможность установить, не без некоторого изумления, что ученые издатели ее поторопились, заявив, что ими не оставлено без внимания ни одного значительного текста. Представляю судить об этом моим читателям.

Явление это не заключает в себе, однако, ничего особенного. Переписка Наполеона I выдержала в Париже три издания; первое из них было объявлено полным; между тем, два остальных были предназначены для пополнения его. Французское военное министерство готовит в настоящее время четвертое издание. Взятые из того же хранилища,

что и прежде опубликованные документы, и вместе с ними побывавшие в руках предыдущих издателей, документы, предназначенные для нового издания, достигают цифры шести тысяч из тридцати тысяч их, составляющих литературное наследие Наполеона.

Хотя Венский архив и был тщательно изучен во всем, что касается Елизаветинской эпохи, г. д'Арнетом и другими историками, мне все же удалось почерпнуть в нем неизданные еще сведения.

В заключение позволю себе выразить еще раз мою глубокую благодарность всем тем лицам, которые как в частных, так и в общественных хранилищах, изученных мною, облегчили мою задачу, руководили моими изысканиями и открыли мне доступ к сокровищам, вверенным их попечениям, помогая мне своими просвещенными советами.

Г.г. Козер, директор Государственного архива в Берлине, доктор Густав Винтер и г. Арпад де Кароли, директор и вице-директор Императорского архива в Вене, и г. Фарж, начальник отдела исторических изысканий в архиве министерства иностранных дел в Париже, да соблаговолят принять от меня особую дань почтительной признательности!

К. Валишевский

Часть первая «Внутренняя история государства»

Глава первая Ноябрьский переворот 1741 г.

I. Первые годы

Она родилась 19 декабря 1709 года; год этот достаточно красноречиво говорит уму и сердцу каждого русского человека.

В это время отец Елизаветы не был еще повенчан с ее матерью, в чем впоследствии жестоко упрекали обеих дочерей, Анну и Елизавету, родившихся от этого союза, столь странно возникшего и испытавшего такие необычайные переживания. Но в это же время Петр вернулся в Москву после Полтавы в сопровождении целого поезда шведских пленников, и эта слава окружила даже его новое потомство таким сиянием, что, невзирая на страшные потрясения и мучительные испытания, судьба великой империи оказалась неразрывно связанной с участью смиренной ливонской пленницы и ее дочерей.

Как известно, после неожиданного возвышения Екатерины I и преждевременной смерти Петра II, наследие полтавского героя сделалось предметом спора между тремя ветвями царствующей династии. Елизавете сперва как будто вовсе и не суждено было принять участие в этом соперничестве. Вступив на престол, ее мать возымела относительно нее весьма честолюбивые замыслы, направленные совершенно в другую сторону. Это отразилось на детстве и на воспитании Елизаветы. Старшая дочь императрицы, Анна, заключила более или менее подходящий брак в Германии, и Екатерина «по важным соображениям» желала, чтобы младшая дочь ее умела говорить по-французски и хорошо танцевала менуэт. «Соображения» эти известны. Менуэт должен был произвести впечатление в Версале: императрица думала, что большего и нельзя было требовать от благовоспитанной принцессы.

Поэтому, за исключением учителей французского языка и учителей танцев, воспитание цесаревны было предоставлено ее собственному усмотрению. Неудивительно, что оно не было особенно мудро направлено. Елизавета не любила ни читать, ни учиться. Она заполняла время верховой ездой, охотой, греблей и уходом за своей несомненной, хотя и не очень тонкой красотой.

Черты ее лица были неправильны, нос короткий, толстый и приплюснутый, но великолепные глаза украшали и освещали ее лицо. Впоследствии, имея или воображая, что она имеет власть над зрением художников, она не допускала правдивого изображения своего носа на портретах, и знаменитому граверу Шмидту пришлось переделать его на портрете Токе.

По той же причине она никогда не позволяла изображать себя в профиль. Но она была хорошо сложена; у нее были красивые ноги, белоснежное свежее тело и ослепительный от природы цвет лица. Несмотря на пристрастие к французским модам, она никогда не пудрила волос; они были того красивого рыжего цвета, что так ценится любителями венецианской красоты. И от всего ее существа веяло любовью и сладострастьем.

В первой молодости, в костюме итальянской рыбачки, в бархатном лифе, красной коротенькой юбке, с маленькой шапочкой на голове и парой крыльев за плечами в те времена девушки носили их до 18 лет, – а впоследствии в мужском костюме, особенно любимом

ею, потому что он обрисовывал ее красивые, хотя и пышные формы, она была неотразима. Она сильно возбуждала мужчин, чаруя их вместе с тем своею живостью, веселостью, резвостью. «Всегда легкая на подъем», как говорил про нее саксонский агент Лефорт, она была легкомысленна, шаловлива, насмешлива. «Она как будто создана для Франции, – писал он, – и любит лишь блеск остроумия».

В январе 1722 г., объявляя ее, согласно обычаю, совершеннолетней в присутствии многолюдного собрания, Петр ножницами обрезал ей крылья. Ангел превратился в женщину.

Однако Екатерина I не оставляла своей мысли, и в 1725 г. она более или менее осторожно предложила Елизавету в жены Людовику XV. В то время уже подготавливался франко-русский союз; но после Петра I, задумавшего его, Екатерина хотела положить в основание его это совершенно неприемлемое условие. Ясно было, что даже такой ценою не оправдывалось принесение в жертву естественных интересов России везде, где они в то время соприкасались с интересами Франции – в Турции, Дании, Швеции, Польше. В этом направлении один вопрос об обладании Шлезвигом открывал уже целую пропасть. Франция гарантировала Дании владение им, между тем как на него предъявлял права Голштинский дом, состоявший уже в родстве с российским царствующим домом.

К тому же было чистым безумием предполагать, что в Версале согласятся серьезно обсуждать вопрос о браке французского короля с одной из принцесс, рожденных до брака.

И, действительно, вопрос этот вовсе и не подвергался обсуждению. Подлинные документы, относящиеся к начатым по этому поводу переговорам, не оставляют на этот счет ни тени сомнения. 11 апреля 1725 г., принимая в аудиенции французского посланника, Кампредона, и разговаривая с ним по-шведски, чтобы не быть понятой окружающими, Екатерина объявила, что «дружба и союз с Францией были бы ей приятнее дружественных отношений всех остальных европейских держав». В тот же день императрица, не желая входить лично в дальнейшие объяснения, послала к Кампредону Меншикова, открыто предложившего на рассмотрение вопрос о браке Елизаветы с Людовиком XV. Он выказал себя весьма сговорчивым относительно условий брака и от себя сделал предложение, впоследствии считавшееся всегда совершенно недопустимым в России: о переходе Елизаветы в католическую веру.

Кампредон объявил себя весьма польщенным сделанным предложением, но попросил дать срок для сообщения его в Версаль и получения оттуда ответа. И не успел еще курьер вернуться из Франции, как в Петербурге разнесся слух о предстоящем браке Людовика XV с английской принцессой.

Екатерина все же не сдалась. На этот раз она выбрала посредником своего зятя, герцога Голштинского, и сообщила через него Кампредону, что, движимая желанием выдать Елизавету замуж во Франции, она удовольствуется и герцогом Орлеанским.

Во Францию вновь поскакал курьер. Но ответ из Версаля, отправленный 21 мая, окончательно разбил упорные надежды императрицы. Выражения безграничной благодарности сопровождали самый решительный отказ, едва смягченный несколькими вежливыми формулами: в Версале «опасались, что императрице оказалось бы слишком неудобным перед своими подчиненными согласиться на переход цесаревны в другую веру». Затем выражалось крайнее сожаление, что «герцог Орлеанский принял уже другие обязательства»...

Это положило конец мечтам и отсрочило на долгие годы союз с Францией. Несколько месяцев спустя, Россия стала во враждебные отношения с Данией, и франко-русская война казалась неизбежной.

При посредстве саксонского посланника Лефорта Елизавета чуть было не вышла замуж за побочного сына Августа II, несчастного кандидата на курляндский престол, красивого, мужественного, но слишком уж предприимчивого Морица. Какое падение! Лефорт послал этому странствующему рыцарю портрет цесаревны, снабдив его заманчивыми ком-

ментариями: «хорошо сложена, прекрасного роста; прелестное круглое лицо, глаза, полные воробьиного сока (sic), свежий цвет лица и красивая грудь».

Мориц был обольщен скорей курляндским престолом, чем возможностью разделить его со столь прекрасной подругой. По словам Лефорта, она ждала его «с величайшим нетерпением» (avec dèmangeaison).

Но в то время место в Митаве было занято Анной Иоанновной, племянницей Екатерины I и вдовой Фридриха-Вильгельма, герцога Курляндского, менее привлекательной, чем Елизавета, но в данную минуту обладавшей лучшим приданым. Мориц не колебался в выборе между богатством одной из предполагаемых невест и прелестями другой. Герцогиня Курляндская также не замедлила благосклонно принять предложение жениха, тем более, что Лефорт предупредительно описал все ее качества «вплоть до самых сокровенных».

Однако Елизавета одно время как будто одержала верх над своей соперницей. Мориц убедился, что, благодаря деятельности своего агента, французского полковника де-Фонтенэ, он имел более шансов получить герцогскую корону вместе с рукой красивой цесаревны. Но когда Курляндия, а за нею вся Польша восстали против этой сделки, то и Саксония отступила от своего плана, и в конце концов Мориц остался без герцогства, а Елизавета без мужа.

Вскоре после этого ей пришлось, за неимением лучшего, изъявить согласие на брак с епископом Любской епархии, Карлом-Августом Голштинским, младшим братом правящего герцога. Партия эта была более чем скромная, но злой рок или, скорей, счастливая звезда цесаревны не допустили этого брака. Жених умер, не дойдя до алтаря. Не предвидя лучшей партии в будущем, Елизавета глубоко опечалилась его смертью.

В утешение ей великий государственный деятель следующего царствования, Остерман, облюбовал другой план. Соперничество разрозненных ветвей потомства Петра Великого становилось тягостным. За отсутствием какого бы то ни было династического закона, престолонаследие, после Екатерины, находившейся на одре смерти, вовсе не было обеспечено за сыном Алексея Петровича. На официальных торжествах и общественных богослужениях имена цесаревен Анны и Елизаветы провозглашались раньше имени маленького Петра Алексеевича, отпрыска наследника, отвергнутого своим отцом. Но это дело могло уладиться путем брака. Если бы Елизавета стала женой своего племянника, то престолонаследие не было бы оспариваемо по крайней мере с этой стороны.

На этот раз осуществлению этого плана воспрепятствовала церковь и, опираясь на ее голос, тогдашний властный хозяин страны, – а перед ним Остерман, в ожидании будущих благ, был еще весьма мелкой сошкой, – Меншиков не желал брака Елизаветы с Петром, потому что готовил для будущего императора другую невесту в лице своей собственной дочери.

Всем известна развязка этой интриги – опала и ссылка всемогущего временщика и несчастной Марии Меншиковой вслед за воцарением Петра Алексеевича.

Елизавета не сумела воспользоваться этим поворотом счастья, хотя сделать это было вполне в ее власти. Под влиянием Остермана Петр II влюбился в свою красивую тетку, и от нее зависело направить это весьма горячее чувство к цели, указанной честолюбию будущей императрицы тонким немецким политиком. Но в 17 лет это честолюбие еще недостаточно окрепло и не приняло определенной формы. Петр II сам еще был ребенком – ему шел тринадцатый год, – следовательно, любовь, – как ни склонна была Елизавета подчиняться ее велениям, – также не могла руководить ею в данном вопросе.

Таким образом она упустила случай и потеряла время.

Она не обольщала своего племянника, но принялась усердно будить в нем жизненные инстинкты. Она оторвала его от серьезных занятий и учебников, с единственной целью делить с ним самые невинные из тех удовольствий, которым она склонна была предаваться

по свойству своего темперамента, хотя они и не всегда соответствовали достоинству государя. Она развила в нем охоту, даже страсть к физическим упражнениям. Будучи бесстрашной наездницей и неутомимым охотником, она увлекала его с собой на долгие прогулки верхом и на охоту. Во время этих поездок молодой император любовался прекрасными глазами, полными, по выражению Лефорта, «воробьиного сока», вздыхал у ног своей спутницы и слагал в ее честь плохие стихи; но, по возвращении домой, он вместе с Иваном Долгоруким ускользал по ночам из дворца в поисках более доступных наслаждений; его роман возбуждал в нем желание их отведать, не давая ему вместе с тем никакого удовлетворения.

Но и этот роман, едва начатый, встречает вскоре препятствие, остановившее его дальнейшее развитие. Опять-таки против него вооружается Меншиков. Он дерзает даже отнимать у цесаревны, уже тогда очень расточительной, кошельки с золотом, которые ей дарит щедрый Петр II.

Тут уже Елизавета, глубоко уязвленная, сопротивляется и берет верх над врагом. Несчастную Марию Александровну заставляют вернуть кольцо, служившее залогом лучезарной будущности. Молодой государь теперь свободен располагать собой, и Елизавета на этот раз как будто готова использовать это обстоятельство.

Ей удается ввести в круг приближенных Петра нового фаворита, Александра Борисовича Бутурлина, «министра священных тайн развлечений императора», как называет его Лефорт, а впоследствии фаворита цесаревны. Она сближается с Остерманом, все еще не отказавшимся от своего плана. Следуя советам своего руководителя или собственным наклонностям, она возбуждает ревность Петра, кокетничая с Иваном Долгоруким.

Но она заходит слишком далеко. Неокрепшее чувство, которое она старается насильственно развить этим путем, блекнет под давлением таких осложнений, и среди непрерывных охотничьих развлечений в Горенках, куда Долгорукие постоянно приглашают государя, любовь устраивает западню слишком предприимчивой цесаревне.

Пока она увлечена зародившейся страстью к Бутурлину, Петр II противопоставляет ей соперницу, молодую девушку, раскрывшую перед ним всю прелесть целомудренной и чистой привязанности.

Он обручается с Екатериной Алексеевной Долгорукой, «она великолепного роста, цвет лица у нее ослепительной белизны, глаза огненные»

Идиллия эта имела трагическую развязку, и у смертного одра Петра II наследственные права дочерей Петра не подвергались даже обсуждению. Другое потомство взяло верх; в царствование Анны Иоанновны и во время регентства Бирона судьба Елизаветы претерпела долгое и полное затмение.

При жизни Петра II ее звали «Венерой», в противоположность сестре царя, серьезной и долгое время безупречной Наталье Алексеевне, носившей прозвище «Минервы». Елизавета и осталась «Венерой», «допуская без стеснения», писал испанский посол, герцог Лирия, «вещи, заставлявшие краснеть наименее скромных людей». Она собирала у себя в Александровской Слободе самое легкомысленное общество; когда Анна Иоанновна заставила ее последовать за собой в Петербург, она продолжала тот же образ жизни и здесь в доме, стоявшем на окраине города и приобретшем весьма дурную славу.

Она жила в нем серо, почти бедно, билась в постоянных денежных затруднениях и находилась под неослабным надзором. В 1735 г. одну из ее горничных заключили в тюрьму, обвинив ее в непочтительных отзывах о Бироне. Ее подвергли допросу, высекли и сослали в монастырь. Возник было вопрос о заточении в обитель самой цесаревны. Она носила простенькие платья из белой тафты, подбитые черным гризетом, «дабы не входить в долги, – рассказывала она впоследствии Екатерине II, – и тем не погубить своей души; если бы она умерла в то время, оставив после себя долги, то никто их не заплатил бы и ее душа пошла бы в ад; а этого она не хотела». Но белая тафта и черный гризет должны были вместе с тем про-

изводить впечатление вечного траура и служили своего рода знаменем. Ее семья – несчастная семья литовских крестьян, трое детей, две тетки, получившие аристократические имена и титулы, но бедные и испытывавшие самое презрительное обхождение со стороны Анны Иоанновны, – доставляли ей также немало хлопот и вводили в большие расходы. Она воспитывала за свой счет двух дочерей Карла Скавронского, старшего брата Екатерины I, и старалась выдать их замуж.

Знать пренебрегала ею как за ее рождение, так и за характер ее любовных увлечений. Таким образом, ей пришлось, чтобы составить себе общество, спустаться все ниже и ниже.

В Александровской Слободе она обходилась с крестьянскими девушками почти как с равными, катаясь с ними на санях или угощая их изюмом, орехами и пряниками и принимая участие в их играх и плясках. В Петербурге она наполнила свой дом гвардейскими солдатами. Она раздавала им маленькие подарки, крестила их детей и очаровывала их своими улыбками и взглядами. «В тебе течет кровь Петра Великого», – говорили они. Она показывалась публично весьма редко, лишь в торжественных случаях, и держалась серьезно и грустно, принимая протестующий вид, доказывающий, что она ни от чего не отреклась. То же самое угадывалось в некоторых поступках, совершенных ею по внушению приближенных лиц; у нее самой никогда не было инициативы. Она навестила несчастного тверского епископа Лопатинского, выпущенного Анной Леопольдовной из тюрьмы, куда его заточила Анна Иоанновна.

– Узнаешь ли ты меня? – спросила она его.

Надломленный многолетним заключением, старик долго искал в своих воспоминаниях; наконец он востепенулся и радостно воскликнул:

– Ты искра Петра Великого!

Она оставила ему триста рублей, и об этом случае заговорили в церквях и монастырях.

Тем не менее она оказалась одинокой и почти забытой. Она оставалась красивой, но становилась слишком полной, и, подобно шекспировскому Цезарю, питавшему недоверие к худощавым людям с ввалившимися глазами, английский посланник Финч говорил, что она была «слишком толста, чтобы быть заговорщицей».

Ее считали обвенчанной с Алексеем Разумовским, малороссийским крестьянином, обратившим на себя ее внимание в церкви Анны Иоанновны, где он был певчим. Он, по видимому, не принадлежал к числу мужчин, способных пробудить ее от нравственной спячки, охватившей ее вследствие злоупотребления различными удовольствиями, и заставить ее стряхнуть безропотную и ленивую неподвижность, по свидетельству французского посла Шетарди, делавшую ее «робкой в самых обыкновенных поступках».

Разумовский был просто красивым мужчиной, иногда буйного характера, после хорошей пирушки. В числе приближенных цесаревны находились оба Шуваловы, Александр и Иван, – тоже люди ничтожные, – и Михаил Воронцов, женатый на Скавронской, человек крайне сдержанный и осторожный.

Бирон, уже на высоте своего могущества, обнаружил было намерение озарить своим сиянием померкшее светило, что произвело переполох среди друзей и врагов цесаревны. Позднее, в правление Анны Леопольдовны, ее заподозрили в сношениях с опальным Минихом, и клеветы Антона-Ульриха Брауншвейгского получили приказание арестовать его, если он отправится к Елизавете. Впрочем, в былое время Миних советовал Бирону заточить цесаревну, и она этого не забыла; все знали и поняли, что с этой стороны нечего было бояться и не на что надеяться. Тем временем событие, опрокинувшее эти предположения, подготовлялось – только не в кабинете маркиза Шетарди.

II. Движение в казармах в пользу цесаревны

Это событие является одним из самых известных и тщательно изученных в истории. Малейшие подробности его были установлены по таким достоверным источникам и так талантливо изображены, что мое намерение повторить описание его на последующих страницах может показаться самонадеянным и бесполезным, тем более, что я не могу представить новых данных, во всяком случае ни одного документа, опровергающего те, что послужили первоначальными источниками. Берлинский архив, исследованный впервые по этому вопросу мною, оказался в полном согласии с парижским, где другие историки черпали сведения до меня. Но извинением мне может служить то обстоятельство, что, как хорошо ни были осведомлены мои предшественники, они не использовали своих знаний во всей их полноте. По крайней мере мне сдается, что в двух вопросах, касающихся, с одной стороны, участия Франции и ее представителя в Петербурге, маркиза Шетарди, в перевороте, положившем в ноябре 1741 г. конец царствованию Иоанна VI и возведшем на престол дочь Петра Великого, с другой – роли, сыгранной национальным элементом в этом событии, они впали в глубокое заблуждение.

Откуда рождаются все легенды? Как незаконные дочери, они большею частью происходят от неизвестных отцов и матерей. В данном случае, однако, неразрешимый обыкновенно вопрос о происхождении позволяет зародиться некоторым догадкам. Лицу, в чью пользу этот переворот совершился, было несомненно выгодно создать обманчивую картину, которая в блеске еще не померкшего престижа Франции и под покровом патриотического чувства преобразовала, придавая ему подобие величия, самый заурядный заговор. Некоторые из современников поверили этой сказке; другие помогли ее распространить, и легенда родилась. Она пробила себе дорогу, приобрела вполне законные права гражданства, и с моей стороны, конечно, странно подвергать ее нескромному рассмотрению. Легенда эта так привлекательна: молодая, красивая цесаревна, вознесенная на вершину власти народным течением при содействии тридцатилетнего посла и восьмидесятилетнего старца. Какая богатая тема!

Легенды очень живучи. Эту легенду я, вероятно, не убью. Тем легче простят мне мои читатели мое усилие противопоставлять ей некоторую долю действительности.

Среди приближенных к цесаревне лиц не было человека, способного дать ей, вместе с сознанием роли, которую она могла играть, возможность отстоять свои нравы; но в более далеких от нее кругах было несколько тысяч лиц, нетерпеливо и с раздражением относившихся к ее бездействию. Это являлось следствием ужасного и невыносимого режима, водворившегося в России после смерти Петра Великого, в силу отсутствия закона о престолонаследии, периодических переворотов, заменивших его, и произвола русской олигархии, чередовавшегося с грубостью немецкой диктатуры. После лифляндки Екатерины воцарилась по браку немка Анна Иоанновна; после Меншикова власть перешла в руки Бирона; одновременно началось настоящее нашествие других иностранцев, вроде Брауншвейг-Вольфенбюттель-Бревернов, Мекленбург-Шверинов, целой армии экзотических принцев и принцесс, солдат, авантюристов, двинувшихся на Россию со всех концов Европы и деливших между собой, как добычу, должности, почести, доходные места, высасывая все соки из страны для удовлетворения своих appetitов. А единственная надежда в будущем воплощалась в лице императора, имевшего несколько месяцев от роду, несчастного Иоанна Антоновича; над колыбелью его склонялась мать-регентша, но русского в ней было лишь полунемецкое имя – Анна Леопольдовна – полученное ею, когда она отказалась от лютеранской веры и приняла православие.

Чаша была переполнена. Не имея права голоса, народ переносил все терпеливо и бесознательно, как и многие последующие испытания. Но Россия уже обладала в иных кругах

сознательной и деятельной душой. На следующий же день после смерти Анны Иоанновны прусский посланник, Мардефельд, писал:

«Все чрезвычайно восстановлены против узурпатора (Бирона), и гвардейские солдаты открыто говорят, что они будут терпеть его правление только до погребения их дорогой матушки (Анны I); некоторые говорят, что лучше всего было бы передать власть цесаревне Елизавете, прямому отпрыску Петра Великого, ввиду того, что большинство солдат принимает ее сторону».

Позднее Бирон последовал за Меншиковым в Сибирь. Но между Линаром и Минихом, Остерманом и Антоном-Ульрихом, ввергавшими страну во все возрастающую анархию, увлекавшими ее в опасные внешние предприятия, регентство Анны Леопольдовны почти заставляло жалеть о ссыльном регенте и ужасной бироновщине.

Следовательно, уже несколько месяцев военные круги и в особенности гвардейские казармы находились в состоянии брожения. Уже много лет зачинщики государственных переворотов обращались к этому элементу, находя в его среде ждущих применения своей удали бесстрашных охотников, пробуждая в них вместе с тем честолюбие и аппетиты, все более нетерпеливо и властно требовавшие удовлетворения.

Гвардейцы, использованные поочередно то тем, то другим из временных победителей, возносившие их на вершину власти и восторженно приветствовавшие их сегодня с тем, чтобы завтра бросить в кибитку и с бранью отправить в Пелым, все более и более осознающие свою силу, недовольные и отважные, шли на эти дела, потому что они им нравились сами по себе, поднимая их значение и давая им возможность требовать вознаграждения; но они каждый раз чувствовали, что им было бы несравненно приятнее, если бы от их помощи выигрывали не Бирон, не Миних, не Антон-Ульрих. Нельзя сказать, чтобы национальное чувство было у них очень развито. Многие из рядовых солдат были даже иностранцы. Но те, другие чужеземцы, ожесточенно враждовавшие друг с другом, командовавшие ими и управлявшие к тому же Россией, не были в их глазах ни симпатичными, ни авторитетными. Бирон попался в ловушку, как глупец, Миниха прогнали, как лакея, и, между Юлией Менгден и Линаром, сам Антон-Ульрих, отец императора и генералиссимус, покрыл себя позором и сделался общим посмешищем. Анна Леопольдовна была, пожалуй, добра; они бы охотно простили ей ее личный образ жизни; но ее никогда не было видно. Она запиралась со своей фавориткой и со своим фаворитом. А если в то время повелителей меняли как рубашку, они готовы были отдать предпочтение Елизавете, не столько оттого, что она была «искрой Петра Великого», сколько потому, что она была доступна всем, любезна, мила; с нею угрюмая жизнь, устраиваемая России теми иностранцами, стала бы улыбающейся и приветливой, как глаза цесаревны – не говоря уже о том, как много эти глаза обещали смельчакам. Воспоминание о Шубине разжигало воображение, и вокруг красавца-гренадера сложилась в казармах легенда, сильно способствующая торжеству дочери Петра.

Мало-помалу разгорался очаг страстных вожелений и горячих пожеланий, сообщившихся и армейским полкам. Слышались крики: «Разве никто не хочет предводительствовать нами на пользу матушки Елизаветы Петровны!»

Одна из подруг цесаревны, Салтыкова, рожденная княжна Голицына, служила по-своему делу Елизаветы в той же среде. Ее дом был рядом с казармами Преображенского полка, и она, по свидетельству Мардефельда, так часто их посещала, что ей случалось уносить с собой жгучие воспоминания.

Таким образом зародился заговор, если этим именем можно назвать совпадение желаний, одинаково необдуманных как с той, так и с другой стороны и стремившихся соединиться для общей цели, не вступив в точное соглашение и не установив ни ясного плана, ни определенного образа действия. Два темных агента, принадлежащих один к челяди цеса-

ревны, а другой к армии, принялись в последнюю минуту распределять роли; но по ним можно судить о национальном и политическом характере, придаваемом и теперь еще некоторыми историками делу, исполненному ими: и тот и другой были опять-таки иностранцами.

Сама Елизавета, по-видимому, также не была всецело проникнута приписываемыми ей чувствами. В сентябре 1727 г., ведя переговоры о ее браке с маркграфом Карлом Бранденбургским, Мардефельд писал: «Она совершенная Немка по духу и только и жаждет отсюда уехать». Оба эти посредника не имели, следовательно, ни малейшей связи с французским посольством. Елизавета говорила с Шетарди на языке Расина, вследствие чего ее сношения с ним принимали поневоле в глазах окружающих оттенок интимности. Анну Леопольдовну поддерживала Австрия; не ясно ли было, что Елизавета, соперничавшая с ней, должна была опираться на Францию? С тонкостью и тактом, влагаемыми наименее одаренными женщинами в такого рода интриги, цесаревна поддерживала и укрепляла это впечатление, прикрываясь им, как декорацией и щитом. Установленный за нею надзор и ее робость, преувеличивавшая опасности его, помешали ей, как мы увидим ниже, развить эти отношения; с другой стороны, вполне законные сомнения и недоверие самого Шетарди не позволяли ей извлечь из них наибольшую выгоду. Гораздо более значительную и энергичную роль в подготовке государственного переворота сыграли Шварц и Лесток. А во время осуществления его на первый план выдвинулось третье лицо – еврей, родом из Дрездена, бывший торговец ювелирными предметами, превратившийся в гвардейского солдата. Его звали Грюнштейн.

Шварц был немец, пехотный капитан, поступивший на русскую службу; он выдавал себя за инженера и получил место на корабельных верфях. Лесток давно уже принадлежал к штату Елизаветы, исполняя обязанности хирурга. Его отец, родом из Шампани, скazyвался дворянином – L'Estocg L'Helvégue. Покинув Францию после отмены Нантского эдикта, он поселился в Германии, в Целле, где был сначала цирюльником, а затем хирургом при дворе Георга-Вильгельма, последнего Брауншвейг-Целльского герцога. Сын его родился в 1692 году и приехал искать счастья в Россию в 1713 г. Он обратил на себя внимание Петра Великого ловкостью, с какою орудовал хирургическим ножом, и живостью ума, но имел несчастье не понравиться знаменитой горничной Екатерины I, Крамер, приписавшей ему неприязненные суждения об отношениях царя со своим денщиком Бутурлиным. Он счастливо отделался лишь ссылкой в Казань, откуда Екатерина поспешила вернуть его; и хотя она знала, что он был глубоко безнравственный человек, она все же приставила его к особе Елизаветы, которой было в то время шестнадцать лет.

Перехожу к организации заговора, поскольку таковой существовал, пользуясь для восстановления истинных фактов донесениями самого маркиза Шетарди, проверенными теми депешами, которые Версальский кабинет получал одновременно из Стокгольма и оставшимися до сих пор без рассмотрения. Они совершенно ясно восстанавливают факты и доказывают, что участие Франции в этом событии оставалось лишь в виде предположения, и что этот план, в противоположность принятой всеми версии, не исходил из инициативы молодого представителя французской дипломатии в Петербурге.

III. Отношения Елизаветы к Франции и Швеции

Маркиз Шетарди занял свой пост в 1739 г., играя чисто представительную роль, чрезвычайно ему подходившую. Ограничиваясь сначала лишь обменом любезностей, его сношения с Елизаветой приняли более интимный характер лишь в ноябре 1740 г., после падения Бирона, принесшего еще новое разочарование Елизавете. Она втайне послала к нему Лестока, чтобы выразить ему ее сожаление по поводу прекращения его посещений. Она и лица, выдававшиеся с нею, были в подозрении. Шетарди ответил ей уклончиво. Он не доверял цесаревне, полагая, что она находится в хороших отношениях с Анной Лео-

пользовной и, следовательно, является сторонницей Австрии. Но, к его изумлению, Лесток заговорил с сожалением о падении Бирона. Лишившись его поддержки, цесаревна потеряла все. Тут же Лесток сообщил Шетарди, какие надежды можно было возлагать на могущественную партию, преданную дочери Петра Великого и ее племяннику, герцогу Голштинскому. Маркиза это не убедило, и он даже не поспешил узнать мнение Версальского двора относительно этих намеков. Он не послал курьера и не выразил желания поговорить с самой Елизаветой об этом щекотливом вопросе. Он отправил свое донесение обыкновенным путем и стал ждать дальнейших событий, полагая, что они далеко не оправдают смелых предположений Лестока и его повелительницы.

Через месяц шведский посланник Нолькен поставил его в тупик новым, еще более необычным предложением. Ему было приказано, объявил он, поддержать, по своему выбору, партию герцога Курляндского, Анны Леопольдовны или Елизаветы; на это ему было дано сто тысяч талеров. Он намеревался истратить их в пользу цесаревны и рассчитывал, что его французский коллега укажет ему, как целесообразнее пустить их в дело.

Тут Шетарди испугался. Речь шла уже не о неопределенных надеждах, а о настоящем заговоре, и Нолькен видел залог его успеха в переговорах цесаревны с несколькими гвардейскими солдатами и несколькими темными лицами, находящимися у нее в услужении. И ему, представителю короля Людовика XV, предлагали принять в этом участие. Это было безумием! Однако сто тысяч талеров заставили его призадуматься. Швеция не имела возможности производить такие расходы. Откуда же шли эти деньги? Суммы, расходуемые в Стокгольме на внешнюю политику, нередко черпались во французской казне. Ввиду обычных приемов тогдашней дипломатии, предположение о поддержке, оказываемой какой-нибудь интриге Версальским кабинетом окольными путями, без ведома его прямого представителя, не заключало в себе ничего невероятного. Взвесив все это, маркиз решил ответить уклончиво, попросить инструкции и опять-таки ждать дальнейших событий.

Чтобы заставить его посетить Елизавету, понадобился еще месяц времени и очень настойчивое приглашение с ее стороны; во время свидания он был настороже и не проронил ни одного лишнего слова.

Впрочем, цесаревна и не поставила его в затруднительное положение; она ограничилась лишь тем, что со скорбью отозвалась о существующем положении вещей, которое «огорчило бы Петра Великого», и упомянула с умилением о преданности гвардии «памяти Императора и его потомству». Имя Людовика XV, вопреки мнению историков, ни разу не было произнесено в этой беседе; равным образом не были затронуты унижительные для цесаревны воспоминания о матримониальных планах, где отказ исходил не с ее стороны. По крайней мере в депешах Шетарди об этом не говорится ни слова, и ему, конечно, не простили бы в Версале слишком смелых намеков на чувства, которые могли бы польстить королю своим постоянством, если бы Елизавета, будучи равнодушна к красавцу Шубину, не поставила бы тем самым Людовика XV на одну доску с последним. Историки, вопреки всякой справедливости, обвинили в данном случае кардинала Флери в нерешительности, а его агента в любви к приключениям. Ла Шетарди не обнаружил ни малейшего намерения принять участие в замыслах, сообщенных ему Нолькеном; он считал их безрассудными, и французское правительство не замедлило одобрить его осмотрительность. В ответ на первые же полученные от него известия статс-секретарь Амело писал ему: «Надо думать, что, пока император жив, не может быть и речи об ее (Елизаветы) претензиях на российский престол. Поэтому всякие рассуждения об этом в настоящее время излишни».

Это был безусловный и решительный отказ во вмешательстве.

Но Нолькен продолжал упорствовать, и в январе Шетарди узнал, что при его содействии заговор начинал выливаться в определенную форму. Возник уже вопрос о вооружен-

ном вмешательстве Швеции; ее войска должны были поддержать гвардию в случае военного бунта в пользу дочери Петра Великого.

Дело принимало серьезный оборот. Все еще не веря в его успех, Шетарди уклонялся от совместного со своим коллегой свидания, предложенного Елизаветой, но на следующий день ему пришлось явиться к цесаревне, в ответ на ее настойчивый зов; она на этот раз высказалась более определенно; она объявила, что «дело зашло так далеко, что долгие ждать не представлялось возможности», заговорила о безусловной преданности гвардии, о нетерпении заговорщиков и приступила было к самому щекотливому вопросу, выразив уверенность «в дружбе Франции», когда ей доложили о приезде английского посла. Елизавета знаком пригласила Ла Шетарди остаться и дожидаться отъезда непрошеного гостя. Финч почувствовал себя лишним и сократил свое посещение. «Наконец-то мы от него избавились», – облегченно вздохнула цесаревна после его ухода. Но тотчас же Ла Шетарди пресек дальнейшие излияния, поставив ей на вид, что продолжительность их свидания может возбудить подозрения. Она лишь успела сказать ему, что ввиду того, что ей «нечего более стеснять себя, он может приходить к ней, когда ему заблагорассудится».

Он твердо решил не злоупотреблять данным ему разрешением. Между тем в Версале нашли его осторожность чрезмерной. Согласно сведениям, полученным французским правительством из Стокгольма, замысел принимал более определенный характер, чем тот, что выяснился из донесений Шетарди из Петербурга; вместе с тем в Версале и Берлине вырабатывали план коалиции против Австрии, и комбинация, лишавшая Вену ее единственного союзника, становилась крайне желательной. В силу этих соображений маркизу Шетарди были преподаны решительные указания, выясняющие, что та роль, которую приписывает легенда кардиналу Флери и его агенту, не соответствует деятельности того и другого. Шетарди не уговаривал министра принять участие в заговоре; наоборот, кардинал все время побуждал к тому Шетарди, приказав ему поддерживать, не колеблясь, проект переворота, и сказав Елизавете, что «если король может быть ей полезен, и она даст ему возможность оказать ей услугу, она может рассчитывать, что его величество почтет себя счастливым способствовать осуществлению ее желаний».

Таким образом, вслед за Швецией, на арену собиралась выступить и Франция. Но в эту минуту предприятие встретило со стороны первой из упомянутых держав препятствия, чуть не повлекшие за собой его гибель.

Перед тем как пустить в ход главный рычаг заговора, Нолькен вдруг обнаружил его тайную пружину. Он предложил немедленно ввести на русскую территорию сильный отряд шведских войск, но требовал от цесаревны письменного обязательства возвратить Швеции земли, завоеванные Петром Великим. Он опирался на обещания, данные будто бы Елизаветой, но она впоследствии оспаривала их подлинность, и они, действительно, оказались весьма неопределенными. В своей переписке с французским послом Нолькен утверждал, что цесаревна сама признала права Швеции на возвращение ей части потерянных ею земель в виде награды за услугу, оказываемую ею дочери Петра Великого, и что она почти обещала дать на то обязательство. Но сам Амело нашел эти требования чрезмерными. Елизавета же решительно отказалась дать какое бы ни было письменное обещание, заявив, что одного ее слова достаточно. Нолькен оказался неуступчивым, и Елизавета снова обратилась к содействию Шетарди.

По истечении нескольких дней, проведенных ею в деревне, где она давала обед офицерам армейского полка, квартировавшегося по соседству, она вызвала к себе Шетарди и сообщила ему, как ей трудно было сдерживать рвение своих приверженцев, между тем как Нолькен своими неприемлемыми требованиями препятствовал исполнению задуманного им плана.

В силу того, что, согласно полученным инструкциям, маркизу надлежало действовать заодно со своим шведским коллегой, он защищал, хотя и слабо, образ действия Нолькена, казавшийся и ему недопустимым, и добавил, что он «лично желал бы, чтобы это предприятие приняло определенное направление, ввиду того, что связи, существующие между Швецией и Францией, дали бы, может быть, королю возможность так или иначе доказать цесаревне свою дружбу».

Большого она от него добиться не могла. Он умышленно ничего определенного не говорил и так убежденно отстаивал правильность своего поведения перед своим правительством, что и оно начало колебаться. Амело возымел подозрения. Была ли Елизавета искренна? Смелость Елизаветы, сменившая ее привычную робость, внушала ему подозрения. Не служила ли она орудием для вовлечения Франции и Швеции в ловушку, уготованную им правительством Анны Леопольдовны? «Я не усматриваю, – писал он Шетарди, – соответствия между твердым и отважным планом цесаревны и всем тем, что мне сообщали о легкомыслии и слабости ее характера, что мне и внушает некоторое недоверие». Но это впечатление было не длительно, и следующий курьер привез маркизу указания, заставившие его выйти из его пассивной роли. Ему было предписано сказать Елизавете, что военные приготовления шведов производились с ведома французского короля, и что «его величество даст им возможность поддержать переворот, если она совершит его в согласии с ними».

В конце мая Амело проявил еще большую настойчивость. Валори, французский посланник в Берлине, и Бель-Иль, доверенное лицо кардинала Флери, сообщили ему требования, которыми Фридрих обуславливал исполнение своих обязательств по отношению к Франции. Следовало во что бы то ни стало принудить шведов действовать. Шетарди было поручено уговорить Елизавету склониться на притязания Нолькена. Маркиз предложил ей передать документ в его руки. Видя, что ее припирают к стене и вынуждают принять решение, она отказала наотрез, объясняя свой поступок «боязнью заслужить упреки своего народа, если бы она каким бы то ни было образом принесла его в жертву правам, предъявленным ею на престол». В то же время, отказываясь от принятого ею решения «больше не стеснять себя», она сочла нужным временно прекратить свои сношения с французским послом. Незадолго до того она совершила большую ошибку, думая, что ей удастся привлечь на свою сторону грозного Ушакова, начальника тайной полиции, довольно грубо отвергнувшего ее предложение. Она полагала, что он не только был предупрежден о заговоре, но обладал, пожалуй, и доказательствами его существования. Вместе с тем она узнала, что капитан Семеновского полка, ее явный сторонник, будучи в карауле в императорском дворце, был обласкан герцогом Брауншвейгским, наговорившим ему множество лестных слов и подарившим ему к тому же триста червонцев. Следовательно, заговор был известен Анне Леопольдовне и ее мужу, и они склонны были всеми мерами предупредить его осуществление. Цесаревне уже мерещилось, что ей обрезают косы и облакают ее красивое тело в монашеское одеяние. Между тем, *she has not a bit of nun's flesh about her*¹, – утверждал Финч. Она боязливо вернулась к прежнему замкнутому образу жизни. Нолькenu пришлось даже прибегнуть к кровопусканию при содействии Лестока, чтобы добиться каких-нибудь известий.

В мае хирург посетил Шетарди, но сумел лишь обнаружить томившее его беспокойство. «При малейшем шуме он бросался к окошку, считая себя уже погибшим». Сама цесаревна, завидев маркиза в саду летнего дворца, осторожно избегала встречи с ним и даже хвалилась этим перед правительницей.

В конце июня Нолькен был отозван своим двором; Швеция, помимо Елизаветы, готовилась к войне, уверяя вместе с тем цесаревну, что образ действия шведского правительства стоит в зависимости от ее решимости его поддержать. В действительности же Шве-

¹ В ней не было ни кусочка монашеского тела.

ция откладывала объявление войны лишь потому, что выжидала более крупной субсидии со стороны Франции, и сама еще не была вполне готова к войне. Нерешительность цесаревны была ей на руку в данную минуту, давая возможность еще поторговаться с Версалем и завершить свои приготовления. Откланиваясь Елизавете, шведский посол все же настаивал на письменном обязательстве, уверяя, что без него невозможно было приступить к делу. Она сделала вид, что не поняла, о чем идет речь, и знаком показала, что присутствие камергера мешает ей объясниться; затем она шепнула ему: «Я ожидаю лишь выступления ваших войск, чтобы начать действовать со своей стороны. Завтра Лесток будет у вас». Нолькен вообразил, что победа осталась за ним. Но хирург привез лишь письмо цесаревны к герцогу Голштинскому, содержавшее, как он уверял, «удостоверение признательности его повелительницы относительно Франции и Швеции». Он обещал еще раз посетить Нолькена, но так и не вернулся.

В июле Шетарди чуть было не последовал за своим коллегой в отставку, вследствие затруднений в церемониале, возникших по поводу того, что маркиз хотел вручить свои верительные грамоты лично императору. По наущению Остермана, Анна Леопольдовна воспользовалась этим обстоятельством, как предлогом, чтобы избавиться от посла, казавшегося ей подозрительным, вследствие его частых свиданий с Елизаветой и Нолькеном. Шетарди отказали наотрез в его хозяйстве, он перестал являться ко двору и его отозвание было дело решенным.

Елизавета не подавала между тем признаков жизни. Лишь в августе она послала к маркизу одного из своих камергеров, по всей вероятности Воронцова; пробравшись ночью в сад посла, он рассказал ему, что цесаревна несколько раз пыталась его увидеть. Сад маркиза выходил на Неву; она три раза проезжала мимо в лодке, причем приказывала трубить в рог, чтобы привлечь его внимание. Она даже намеревалась купить дом по соседству, но это намерение стало известным и от него пришлось отказаться. Теперь она предлагала ему свидание на Петербургской дороге, на следующий день в 8 часов вечера. Вооружившись пером с «невыхающими чернилами» и копией обязательства, требуемого Нолькеном, Шетарди явился в назначенное время на указанное место; тщетно прождав цесаревну до 11 ч., он убедился, что она посмеялась над ним.

Он с грустью принялся готовиться к отъезду, когда записка Остермана, сообщавшая ему важное известие, расстроила все его планы. Швеция решила не ждать более действий Елизаветы.

– Это событие не должно вас удивить, – сказал вице-канцлер при свидании с маркизом. – Вы, вероятно, к нему приготовлены.

Вид у него был серьезный, но он «уже не ворочал глазами, показывая белки», как в предыдущих свиданиях. Наоборот, он самым любезным тоном сообщил Шетарди, что вопрос о церемонии решен в смысле его желаний, и что император примет его в «особой и тайной аудиенции». Маркиз помнил при этом, конечно, Константинополь и Вильнева, решавшего по своему усмотрению участь великих визирей; таким образом объявление войны, на которую представитель Франции в Стокгольме дал десять миллионов, не считая щедрот, розданных «крестьянам» и «духовенству» – местным демократам – было причиной неожиданного возврата милостей к представителю ее на берегу Невы.

Елизавета, в свою очередь, сочла нужным оказать ему любезность. Через посредство секретаря шведского посольства она передала Шетарди, что только страх себя скомпрометировать помешал ей подписать известное обязательство, но что подлинник его хранится у нее, и она подпишет его, «как только дело наладится настолько, что ей возможно будет сделать это безбоязненно». Она объявила себя также готовой возместить Швеции военные издержки, выдавать ей впоследствии определенные субсидии, даже по мере надобности тайно ссужать ее деньгами, и обещала не иметь других союзников, кроме Франции. Она считала, что «идет

дальше своих прежних обещаний», но не упоминала вместе с тем ни единым словом о возвращении шведских провинций.

Забыв недавний опыт, маркиз поспешил попросить у нее нового свидания на следующий день. По дороге к графу Линару он пройдет мимо крыльца цесаревны и просит ее выйти сюда около половины первого. К несчастью, на следующий день шел дождь; свидание опять-таки не состоялось, и человек, управлявший, по общему мнению, широкими дипломатическими, военными и революционными комбинациями, где вместе с будущностью России были поставлены на карту интересы грозной европейской коалиции, направленной против Австрии, – бедный Шетарди в следующих выражениях жаловался своему коллеге в Стокгольме на беспомощность своего положения:

«Я все еще не понимаю, чего, собственно говоря, от меня хочет Версальский двор».

Пружины, долженствовавшие привести эту коалицию в движение, ускользали, по видимому, в Петербурге от управления и согласования, и соглашение между двумя главными заинтересованными лицами зависело от изменения барометрических показаний!

Это соглашение было невозможно, кроме того, и потому, что цесаревна все еще только заигрывала с гвардейскими солдатами, от времени до времени раздавая им деньги и все еще боясь положиться на их преданность. Дабы объяснить свою бездеятельность, она жаловалась, что, объявляя войну, шведы не упомянули о том, что они поднимают оружие за ее права, и не поставили во главе войск молодого герцога Голштинского, как то было обещано Нолькеном. В сентябре она через посредника, назначавшего Шетарди свидания в лесах, объявила ему, что у ней иссякли материальные средства, и ей нужны 15 тысяч червонцев. Шетарди поморщился, но согласился все-таки дать ей пока две тысячи червонцев, заняв их у товарища, выигравшего крупную сумму в карты.

Вот к чему сводилось предоставление в распоряжение цесаревны «казны и влияния Франции»!

Амело одобрил этот расход, но выразил опасение, что выданная сумма «не будет надлежащим образом употреблена». Им снова овладели сомнения насчет силы и веса партии, приверженной цесаревне. Выраженное ею неудовольствие по поводу герцога Голштинского он считал неуместным и противоречащим ее собственным интересам. Какую роль мог играть немецкий принц в национальном русском движении? Притом король и королева Шведские терпеть его не могли.

В октябре, несмотря на полученные две тысячи червонцев и на еще более щедрые обещания маркиза Шетарди, Елизавета нашла, что ее иностранные союзники поддерживают ее весьма недостаточно, и стала еще нерешительнее в своих действиях, тем более, что война принимала неблагоприятный оборот для шведов. Манифест, наконец выпущенный ими, согласно желанию цесаревны, где они провозглашали себя защитниками ее прав, не помешал Ласси одерживать над ними победу за победой, а Версальский двор, по видимому, не собирался прийти к ним на помощь. В эту минуту, однако, в Петербурге появился новый французский агент, но Шетарди ничего не знал ни о его приезде, ни о деле, порученном ему. Посол был уязвлен, а в цесаревне его приезд пробудил надежды, оказавшиеся, однако, призрачными. Вновь прибывший агент, по фамилии Давен, был снабжен рекомендательным письмом на имя жены французского художника Каравака, входившего в круг приближенных Елизаветы. Увы! он оказался лишь свагом; искателем руки цесаревны был принц Конти, причем Версальский двор не обнаруживал намерения поддержать его предложение. Елизавета не была особенно им польщена. В данную минуту замужество было бы для нее вовсе несвоевременным! Она с еще большей горечью стала жаловаться на то, что Франция от нее отступилась, тогда как последняя считала себя вправе сложить на нее ответственность за обоюдное разочарование. Амело писал Шетарди: «Я до сих пор не усматриваю ничего со стороны цесаревны, что заставило бы меня предположить, что усилия его величества

дают требуемые результаты. Вместо твердого и определенного плана я вижу лишь нерешительные колебания».

Плана, действительно, не было, и он так-таки никогда и не составил. А усилия его величества давали пока в результате лишь поражение шведов в пользу прусского короля!

Впрочем, в конце ноября Елизавета через нового посланника сообщила маркизу Шетарди, что она готова привести заговор в исполнение в согласии со Швецией. Но ей необходимы были для этого остальные тринадцать тысяч червонцев из тех пятнадцати тысяч, что она просила раньше. Шетарди отговорился тем, что им еще не получен ответ на его представление по этому поводу. Он лгал – он никакого кредита в Версале не испрашивал и просить не собирался. Постоянные субсидии французскими деньгами, проходившие будто бы через его руки в руки цесаревны и питавшие заговор, относятся также к области легенды. Скептицизм маркиза относительно партии цесаревны и ее шансов на успех все более и более укреплялся. Несколько дней спустя он, однако, сильно встревожился. Лесток, давно уже не посещавший его, явился к нему и своими речами дал ему понять, что Елизавете придется, может быть, «уступить силе течения», т. е. нетерпению гвардейских солдат. Шетарди испугался. Он также признавал необходимость какого-нибудь плана для выполнения заговора, но не видел и следа его. По его мнению, надо было сговориться, установить общий план действий с Францией и Швецией.

– Я согласна, – ответила ему Елизавета через посредника. – Вы сами выберете подходящий момент.

Он предложил отправить в Стокгольм посланного, чтобы выработать необходимые меры и склонить правительство отдать Левенгаунту соответствующие приказания. Но он не имел никаких иллюзий относительно результатов этого шага, усматривая в нем лишь продолжение игры, длившейся безрезультатно уже более года. Во время случайного свидания с Елизаветой при выходе из ее саней, она показалась ему еще «настолько нерешительной», что, на всякий случай, и дабы она не вздумала вовсе отступить от своего намерения – что было бы несчастьем для Швеции – он решил напугать ее, сказав, что до него дошли сведения о намерении заключить ее в монастырь.

Это было пугалом, которым Лесток и Шварц пользовались для устрашения ее, подобно тому, как детей пугают букой, и Шетарди это знал.

Очень взволнованная, он объявила, что если ее доведут до крайности, то она покажет, что «в ее жилах течет кровь Петра Великого».

Разговор оживился, и о перевороте заговорили, как о реальной возможности. Тут же составлен был проскрипционный список. Шетарди посоветовал прежде всего арестовать Остермана, Миниха, сына фельдмаршала, барона Менгдена, графа Головкина, Левенвольда и их приверженцев. Он не назвал ни Линара, которого в данное время не было в Петербурге, ни Юлии Менгден, потому что, хотя он и превратился в настоящего заговорщика, в первый и последний раз в жизни, он все же оставался рыцарем. Он посоветовал цесаревне надеть панцирь в нужную минуту. Но когда же надлежало действовать? Еще прежде решено было отправить посланного в Стокгольм, и теперь приходилось ждать, пока это мудрое решение принесет ожидаемые плоды. Впрочем, в самом Петербурге еще ничего не было готово. Елизавета с этим согласилась. Не существовало ни плана, ни организации. Признаваясь в этом, оба заговорщика как бы очнулись от сна, поняв, что в своем воображении они двигали призраками, что в данную минуту ничего не было сделано и делать было нечего; они разошлись, ни на чем не остановившись. Это происходило 22 ноября 1741 г., и роль маркиза Шетарди в этой длинной интриге закончилась в этот день. Несколько часов спустя, подобно падающей лавине, другие элементы заговора, презираемые маркизом и большей частью ему неизвестные, внезапно пробудились к деятельности, под влиянием совершенно неожиданного стече-

ния обстоятельств; но он тут был ни при чем и ничего не знал о случившемся, и ни Франция, ни Швеция не приняли никакого участия в совершившемся событии.

IV. Неожиданное стечение обстоятельств ускоряет развязку заговора

На следующий день был куртаг. Елизавета появилась при дворе. Ее отношения с правительницей оставались учтивыми, даже сердечными. Поглощенная своей любовью к Линару, привязанностью к Юлии Менгден, приданое которой она готовила, своими заботами о детях, в качестве хорошей матери-немки и при ее все возрастающей склонности к беспечной лени, Анна Леопольдовна принимала равнодушно или с досадой доходящие до нее вести об интригах цесаревны. Только этим и объясняется парадоксальная безнаказанность этого заговора, совершенно открыто обнаруживавшегося в казармах и проявлявшегося в других местах ежедневными инцидентами в течение нескольких месяцев. Когда Линар, уезжая, посоветовал ей заключить Елизавету в монастырь, она ответила: «К чему это? Ведь все равно останется чортушка». Она подразумевала молодого герцога Голштинского. В то время, как Остерман, побуждаемый Финчем, рассказывал ей о подозрительном поведении Лестока, она прервала его, с гордостью показывая ему ленточки, пришитые ею к одежде маленького императора. Она, впрочем, в глубокой тайне подготавливала событие, которое, по ее мнению, должно было положить конец честолюбивым замыслам «чортушки» и ее тетки. Мардефельд его предугадал и предупредил о нем свой двор: 9 декабря, в день своих именин, она собиралась провозгласить себя императрицей и поручила Бестужеву составить третий манифест на этот случай, в дополнение к двум другим, написанным Тимирязевым.

Тем не менее она решила воспользоваться куртагом, чтобы объясниться с цесаревной. Она только что получила важное письмо от Линара, содержащее довольно точные сведения о действиях Шетарди и Лестока. Прервав карточную игру, по-видимому, очень интересовавшую Елизавету, она увлекла цесаревну в уединенную гостиную, где слово в слово повторила ей содержание письма. Елизавета была ошеломлена. Через одну грузинку, принадлежавшую к челяди правительницы, и лакея Антона-Ульриха, ежедневно приходившего с донесениями к Шварцу, она знала все, что происходило во дворце; оба шпиона прочитывали и письма, валявшиеся на столах. Переписка Линара, очевидно, ускользнула от их наблюдения; потому-то цесаревна не была предупреждена и не успела приготовиться к защите. Она принялась убеждать Анну Леопольдовну в своей невиновности; пусть скажут Шетарди, чтобы он больше не посещал ее; пусть арестуют Лестока и поступят с ним, как он того заслуживает, если он виновен. Она выдала с головой своего сообщника и со слезами бросилась к ногам правительницы. Анна Леопольдовна тоже заплакала, и обе женщины, смешав таким образом свои слезы и волнение, разошлись довольно дружелюбно.

На следующий день, 23 ноября, рано утром Лесток прибежал к Шетарди в сильном волнении. Надо действовать немедленно, а то все будет потеряно! Выслушав рассказ об инциденте, вызвавшем эту тревогу, посол отказался ее разделить. В прежнее время, когда он не представлял еще своих верительных грамот и не чувствовал себя под защитой дипломатической неприкосновенности, он также легко пугался и, ввиду опасности, грозившей ему, вследствие его участия в заговоре, даже превратил свой дом в крепость. Находясь под двойной охраной своего официального положения и впечатления, произведенного на Остермана войной со Швецией, он не усмотрел в сообщении хирурга ничего, что могло бы его интересовать – это слово встречается в одной из его депеш – или взволновать. Получены ли известия от Левенгаупта? Нет. Следовательно, надо еще подождать. Он предполагал даже отстрочить приведение заговора в исполнение на целый месяц, довольно открыто обнаруживал главную свою заботу: охрану интересов Швеции и попутно и Франции в этом деле;

успех заговора казался ему сомнительным и маловероятным, но существование его являлось само по себе преимуществом для обеих держав, ослабляя общего врага.

Лесток ушел от него в унынии. Его осаждали иные заботы. Он знал через своих шпионов, что накануне решено было его арестовать; Остерман просил лишь, чтобы предварительно удалили из Петербурга Преображенский полк, опасаясь, чтобы в нем не вспыхнуло возмущение по этому поводу. Предлогом к тому служил предстоящий поход на шведов. Отправившись в ресторан, по всей вероятности, в трактир Иберкампа, на Миллионной, где продавались флиссингенские устрицы, парижские парики и венские экипажи, и где он, обыкновенно, сходил с друзьями, Лесток узнал, что всем гвардейским полкам только что отдан приказ о выступлении. Это было равносильно разрушению заговора и его собственной гибели. Он уже чувствовал кнут на спине. Он бросился к Елизавете. Занимаясь рисованием в часы досуга, он набросал как-то аллегорическую картину, изображавшую цесаревну в двух видах: с одной стороны сидящую на троне, с короной на голове, с другой – в монашеском одеянии и окруженную орудиями пытки. Он показал ей рисунок; под ним она прочла надпись: «Выбирайте!» Она все еще была в нерешительности, когда явились несколько гвардейских солдат, тоже находивших, что следует или тотчас же приступить к действиям, или вовсе отказаться от своих намерений. Сержант Грюнштейн держал речь от их лица и был особенно красноречив. Лесток подкрепил его слова весьма убедительным доводом: «Я чувствую, что все скажу под кнутом!»

Елизавета, наконец, решилась, и исполнение заговора было назначено на следующую ночь. Вечером участники его должны были обойти казармы и, если настроение окажется благоприятным, приступить к действиям. Грюнштейн считал необходимой последнюю раздачу денег. Елизавета порылась в шкатулках; у нее было всего триста рублей. Лесток снова поскакал к Шетарди и ничего от него не добился. Живя широко, тратя деньги без счету, сам маркиз всегда в них нуждался. По крайней мере он сослался на скудость своих средств, справедливо казавшуюся неправдоподобной. Он обещал две тысячи рублей на следующий день, рассчитывая на любезность партнера, выигравшего в карты. Таким образом принц Контти имел основание писать впоследствии: «Революция (в России) произошла без нашего участия», добавляя при этом, что посланнику короля было непростительно не воспользоваться созданным положением и, проявив столько смелости в других делах, показать себя столь «неповоротливым» тогда именно, когда смелость была бы чрезвычайно уместна.

Мардефельд, упоминавший в своих докладах о шестистах тысячах дукатов и «о драгоценностях и нарядах» на тридцать шесть тысяч, присланных цесаревне Францией, тоже сознался впоследствии в своей ошибке. Лесток вернулся от Шетарди с пустыми руками, и Елизавете пришлось заложить свои драгоценности.

V. Ночь 24 ноября

В одиннадцать часов вечера Грюнштейн и его товарищи вновь появились у Елизаветы с весьма благоприятным докладом: гвардейцы рады были действовать, в особенности с тех пор, как их решили удалить из столицы и отправить в зимний поход. Рискуя жизнью и тут и там, они предпочитали войне революцию. Лесток послал двух людей к Остерману и Миниху разузнать, не забили ли там тревоги. Ничего подозрительного они не заметили. Сам он отправился в Зимний дворец; в окнах комнаты, которая, по его предположению, была спальней правительницы, света не было. Как известно, Анна Леопольдовна постоянно меняла опочивальню. Вернувшись к Елизавете, он нашел ее молящейся перед иконой Богоматери. Впоследствии было высказано предположение, что она именно в эту минуту и дала обет отменить смертную казнь, в случае удачи опасного предприятия.

В соседней комнате собрались все ее приближенные: Разумовские, Петр, Александр и Иван Шуваловы, Михаил Воронцов, принц Гессен-Гомбургский с женой и родные цесаревны: Василий Салтыков, дядя Анны Иоанновны, Скавронские, Ефимовские и Гендриковы. Им пришлось ее подбадривать, а Лестоку удвоить свое красноречие и энергию, ввиду того, что в последнюю минуту у нее все еще не хватало мужества и решимости. Он надел ей на шею орден св. Екатерины, сам вложил ей в руки серебряный крест и вывел ее из дома. У двери стояли сани; она села в них вместе с хирургом; Воронцов и Шуваловы стали на запятки, и они понеслись во весь дух по пустынным улицам города, направляясь к казармам преображенцев, где теперь стоит собор Спаса Преображения. Алексей Разумовский и Салтыков следовали в других санях вместе с Грюнштейном и его товарищами Мало вероятно, чтоб это маленькое шествие остановилось по дороге у дома Шетарди, и чтоб Елизавета нашла нужным предупредить посла о том, что она была «на пути к славе». Первый рапорт маркиза о перевороте, хотя и весьма обстоятельный, не упоминает о подобном эпизоде, который был бы совершенно ненужным и крайне опасным. Посол жил не один в своем доме, застигнутый врасплох, он не мог бы принять мер предосторожности против тревоги, которая пробудилась бы в его приближенных и, таким образом, несомненно распространилась бы и далее. Дневник секретаря посольства Морамбера и еще более подробная историческая записка, составленная в 1754 г. для французского правительства, тоже ничего не говорят по этому поводу. Шетарди вставил эту подробность лишь в последующем письме, дабы объяснить, почему, будучи застигнут врасплох неожиданной развязкой заговора, он не имел возможности вовремя оказать требуемой от него денежной помощи. Может быть, однако, ночное посещение посольства, как оно ни было неосторожно, и составляло часть той картинной обстановки переворота 25 ноября, которой Елизавета справедливо придавала такое большое значение. Она летела к славе под эгидой Франции, – только что отказавшей ей в двух тысячах рублей на это завоевание!

Сани остановились перед съезжей избой полка, где не предупрежденный ни о чем караульный забил тревогу: настолько заговор был неподготовлен. Лесток кулаком прорвал его барабан, тогда как тринадцать гренадер, посвященных в тайну, разбежались по казармам, чтобы предупредить своих товарищей. Здесь были одни лишь солдаты, помещавшиеся в отдельных деревянных домах. Офицеры все жили в городе, и лишь один из них дежурил по очереди в казармах. В несколько минут собралось несколько сот человек. Большинство из них не знало еще, в чем дело.

Елизавета вышла из саней.

– Узнаете ли вы меня? Знаете ли вы, чья я дочь?

– Узнаем, матушка!

– Меня хотят заточить в монастырь. Готовы ли вы пойти за мной, меня защитить?

– Готовы, матушка; всех их перебьем!

– Не говорите про убийство, а то я уйду; не хочу я ничьей смерти.

Солдаты были изумлены и смущены. Но она поняла, что они в ее руках. Она подняла крест.

– Клянусь в том, что умру за вас. Целуйте и мне крест на этом, но не проливайте напрасно крови.

– Клянемся!

Они бросились прикладываться к кресту; тем временем арестовали дежурного офицера, прибежавшего со шпагой наголо, но сопротивления не оказавшего.

Рассказывая этот пролог к государственному перевороту, современники, может быть, кое в чем и увлеклись, но одна и та же версия повторяется почти неизменно во всех рассказах, и так как она согласна с характером действующих лиц и с современными нравами, его я считаю правдоподобным.

Совершив обряд присяги, Елизавета молвила: «Пойдем!» Последующая программа была указана прецедентами, начертана, так сказать, революционным протоколом, подробности которого только что были установлены Минихом при низложении им Бирона. Около трехсот человек отправились вслед за цесаревной вдоль Невского проспекта.

На Адмиралтейской площади она вышла из саней и пошла пешком. Но ее маленькие ноги вязли в снегу, и гренадеры зароптали:

– Мы что-то тихо идем, матушка!

Она позволила двум солдатам поднять ее и понести на руках. У Зимнего дворца Лесток отделил двадцать пять человек, получивших приказание арестовать Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина. Восемь других гренадеров пошли вперед. Зная пароль, они притворились, что совершают ночной обход, и набросились неожиданно на четырех часовых, охранявших главный вход. Окоченев от холода и запутавшись в своих широких шинелях, часовые легко дали себя обезоружить. Заговорщики вошли во дворец, направляясь прямо в кордегардию. Офицер крикнул: «на караул!» Его свалили на пол, причем, как рассказывают, Елизавета отвела в сторону штык, чуть было не пронзивший его, и поднялась в покои правительницы. Линар был в отсутствии, и она спала рядом с мужем, хотя и была с ним в то время в очень дурных отношениях, если верить Мардефельду. Они друг с другом не разговаривали, но были точны в исполнении супружеских обязанностей.

Когда они ложились спать, Левенвольд, как утверждают, предупредил Анну Леопольдовну о грозившей ей опасности; но она обозвала его сумасшедшим и заснула глубоким сном. Один гренадер, впоследствии замешанный в заговоре против самой Елизаветы – его фамилия была Ивинский – грубо разбудил несчастных. Елизавета запретила тревожить Иоанна VI; но вскоре поднявшийся кругом шум пробудил ребенка. Его кормилица принесла его в кордегардию, где дочь Петра Великого, взяв его на колени, умилилась над ним.

– Бедный невинный младенец! Твои родители одни виноваты.

Она увезла его в своих санях, возвращаясь по Невскому проспекту, уже усеянному хлынувшим народом, приветствовавшим ее криками: ура! Слыша радостные возгласы, ребенок развеселился, улыбаясь той, что отняла у него корону, он запрыгал у нее на руках.

Со смерти Петра Великого, – воцарение внука которого также не было вполне правильным, – это был, на протяжении пятнадцати лет, пятый или шестой переворот, совершенный несколькими честолюбцами с помощью горсти буйных солдат. В других трудах я указал, вместе с причиной этих периодических кризисов, и на то, что позволило стране вынести их, – именно на огромную силу сопротивления, таившуюся в организме, находившемся в периоде формации, причем кризисы эти, подобно болезням роста, сопровождали его развитие, не задерживая его. Ноябрьская революция 1741 г. по составляющим ее элементам – воззванию к мятежу, участию иностранцев и подкупу во всех ее видах, – была в принципе самой предосудительной из всех и, по-видимому, самой угрожающей для будущности народа. Что мог он ожидать от императрицы, достигшей трона при содействии распутных гренадеров, от дочери Петра Великого, подготовлявшей заговор, сообразуясь с движениями шведской армии, официально отправленной в поход в целях облегчения его осуществления?

Однако, как мы видели, и честолюбие Елизаветы, и слабость Анны Леопольдовны не шли дальше известной границы, за которой наследию Петра Великого грозила бы действительная опасность. Как ни жаждала цесаревна власти, она все же не решилась на сделку, безвозвратно погубившую бы это наследие. Армия Ласси, хотя и плохо руководимая и еще хуже снабженная, все же отбросила врага. Так, несмотря на самые худшие случайности, страна, с толпой авантюристов и авантюристок во главе, ожесточенно оспаривавших друг у друга управление ею, не сдавалась, шла по самому краю бездны, не проваливаясь в нее, выпитывала самые опасные яды, отбрасывая смертельные его части, удерживалась на склоне

непоправимых падений инстинктом самосохранения, сила которого является как у отдельных лиц, так и у нации самым верным признаком и мерилом их жизненности.

Эта внутренняя упругость свойственна всем народам в ранние часы их истории. В XV и XVI столетиях Польша испытывала кризисы анархии более сильные, чем те, что свели ее в могилу. Но она была когда молода. В своей более долгой эволюции, Россия XVIII века дожила лишь до весны своей жизни, не окончившейся и по нынешнее время. Ее молодость и была ее спасением между 1725 и 1742 годами. Она не допустила отравления главных органов своего мощного тела и позволила здоровым его частям сохранить всю силу и восторжествовать в той долгой выработке национального гения и патриотизма, чудесное развитие которых мы теперь изучаем. Вступая в переговоры с Нолькеном, Елизавета, несомненно, не более тщательно заботилась об интересах своей родины – что она и доказала неоднократно впоследствии, – чем польские вельможи, приезжавшие в Петербург для подобных же сделок. Но ее останавливало чувство, чуждое им, и она открыто говорила, какое: страх ответственности перед общественным мнением.

Ласси был лишь наемником, но он стоял во главе людей, которые растерзали бы его, если б он не совершил своего долга перед лицом врага. Таким образом, не принимая прямого участия в движении, приведшем в Зимний дворец сообщницу Лестока, Шварца и Грюнштейна, национальное чувство, – т. е. смутное и еще непродуманное, но мощное сознание общих интересов и обязанностей, – сказалось в нем, обуздывая некоторые его крайности, и могло по справедливости приписать себе долю победы при водворении нового режима.

Глава вторая Восшествие на престол

I. Восшествие на престол

Темная ночь; улица Петербурга, тихая и пустынная, под толстым снежным покровом, в морозном воздухе северной зимы; заворачивая из темного переулочка, показывается толпа солдат в сопровождении молодой и хорошенькой женщины...

Опять-таки анекдот!..

Но спрашиваю себя, как бы я мог избежать этого анекдота? Привести, говоря об исторической ночи 25–26 ноября 1741 г., официальные манифесты, возвестившие России и Европе о восшествии на престол дочери Петра Великого? Это было бы, конечно, менее картинно, в более строгом вкусе, как этого желают некоторые мои читатели – и совершенно неверно. Единственная, абсолютная истина – это именно описанная мною ночная экспедиция, с виду банальная и двусмысленная, женщина в сопровождении нескольких гренадеров; затем часовые, оглушенные у входа во дворец, другая женщина, извлеченная из постели, ребенок, взятый из колыбели; в общем – для того, чтобы положить конец регентству Анны Леопольдовны, свергнуть с престола Иоанна III и возвести на престол Елизавету, – почти дословное повторение драмы, за год до того низложившей Бирона.

Дворцовые драмы, начинающиеся в казармах; распри между женщинами и фаворитами; поединки между авантюристами и иноземными династиями; заговоры, революции, убийства, в которых Россия погрязла почти целое столетие, словно в обрывистом и тинистом русле потока, как мне вычеркнуть вас из истории?

С восшествием на престол Елизаветы мы приблизились к несколько менее бурному промежутку времени, но споткнувшись о весьма неприглядный порог! В предыдущей главе я описал первые фразы переворота, спешный заговор, захват Зимнего дворца и беспрепятственное пленение его обитателей. Один очевидец этого события оставил нам описание последующих часов.

Князь Яков Шаховской, приверженец Бирона в царствование Анны Иоанновны, затем сторонник Волынского, когда звезда фаворита стала меркнуть, был человек ловкий. Став регентом после смерти Анны, Бирон не поставил ему в укор его измены, и вскоре так был очарован новыми доказательствами преданности с его стороны, что назначил своего вчерашнего противника на место полицмейстера. Когда регентство закончилось катастрофой, Шаховской беспрекословно позволил перевести себя на место помощника полицмейстера. Вскоре в силу заступничества всемогущего родственника, Головкина, ему предоставлено было, в ожидании лучшего, место в Сенате. Он крепко надеялся, что долго ему ждать не придется. Карьеры делались в то время в России с головокружительной быстротой. 25 ноября 1741 г. он обедал у Головкина; гостей обоего пола было более ста человек; после обеда были танцы, затем ужин. Вернувшись домой в час ночи, сенатор уснул было глубоким сном, когда сильные удары в ставни и громкий зов разбудили его. Он узнал голос одного сенатского пристава.

– Что такое?

– Ваше сиятельство, вставайте!

– Зачем?

– Чтобы присягать цесаревне Елизавете, только что вступившей на престол.

Опять катастрофа, опять перемена, опять начинать карьеру с начала!

Карета Якова Петровича не могла пробиться сквозь толпу, окружавшую дворец. Невзирая на сильный мороз, обыватели и солдаты запрудили площадь, теснясь у зажженных больших костров и распивая водку. Ему пришлось сойти и, завязая в снегу, протискаться до входа во дворец, к которому одновременно подходил один из его товарищей Алексей Дмитриевич Голицын.

– Как это случилось?

– Не знаю.

Лишь в третьем зале они узнали некоторые подробности от Петра Ивановича Шувалова, одного из героев минувшей ночи. Но тотчас же из соседней группы, состоявшей из офицеров, послышался иронический и презрительный голос.

– Сенаторы! Что теперь скажете, сенаторы!

То был лозунг нового режима. *Cedat toga armis!* В отдалении, окруженная другой группой офицеров, недоступная, Елизавета сияла радостью, весело разговаривая и звонко смеясь среди бряцанья сабель и шпор...

Она захватила власть, но на каких основаниях? Никто не знал. Сама она того не знала. После принесения присяги в церкви Зимнего дворца, уступая желанию толпы, требовавшей ее появления, она вышла на балкон, держа ребенка в руках. То был маленький Иоанн. Император? Казалось, что окончилось лишь регентство Анны Леопольдовны, и что тетка заняла место матери вплоть до совершеннолетия государя. Тут же изданный манифест не рассеял недоразумения. Елизавета в нем возвещала, что вследствие беспорядков, происшедших во время малолетства Иоанна, ее верные подданные, как духовные, так и светские, и главным образом гвардейские полки, единогласно просили ее занять престол. Но она не поднимала вопроса о своих правах на престол и не произнесла слова «императрица». Но внутри дворца солдаты кричали во весь голос это слово, и на площади бессознательная толпа вторила им. Как бы повинувшись воле народа, Елизавета, вероятно, тут и почерпнула поощрение, в котором нуждалась. В десять часов утра она объявила Ше-тарди, что ее только что признали императрицей. Вместе с тем, как бы спрашивая совета, она разрешила страшный вопрос:

«Что сделать с принцем Брауншвейгским?»

Императора уже не существовало.

Шетарди ответил, не колеблясь: «Надо употребить все меры, чтобы уничтожить даже следы царствования Иоанна III».

В два часа последовал новый вопрос: «Какие предосторожности принять относительно иностранных государств?» Ответ: «Задержать всех курьеров, пока ваши собственные посланные не успеют объявить о совершившемся событии».

Не посмеяв вступить в игру, пока карты не были раскрыты, Шетарди с тем большей решительностью проявил теперь желание принять в ней участие. Между тем гренадеры стояли на часах, с заряженными ружьями и начеку даже в самой спальне императрицы. Не следовало ли ожидать контрреволюции?

Лишь 28 ноября новый манифест рассеял недоумение публики. В нем, наконец, упоминалось о правах Елизаветы, основанных на завещании Екатерины I. После Петра II и за неимением детей от него, оно указывало, как на законных наследников, на цесаревну Анну Петровну, старшую сестру Елизаветы с ее потомством, и затем на Елизавету с ее потомством. Но разве Анна Петровна, скончавшаяся в 1728 г., не оставила после себя детей? Ведь существовал сын от ее брака с герцогом Голштинским. Не следовало ли ему царствовать? Нет; воспитываясь в Киле в протестантской религии, он подпадал под заключительный пункт завещания, устранявший от престола наследников не православного вероисповедания. Вызвав его впоследствии в Петербург и назначив его своим преемником, Елизавета прежде всего перевела его в лоно православной церкви. Но, сделав это, не следовало ли ей тотчас же уступить ему место? Один историк утверждает, что она о том подумывала, при-

готовив себе даже убежище в Воскресенском монастыре, будто бы выстроенном ею с этой целью на берегах Невы. Оставляю на нем ответственность за это утверждение.

В манифесте было объявлено, что принц Иоанн и его семья отправлены обратно в Германию с соответственными их званию почестями. Дочь Петра Великого, по-видимому, действительно имела намерение это сделать. Сообщу ниже, каким влияниям она уступила, отказавшись от него, обременив тем захват власти излишним проявлением насилия и жестокости и добавив к темным главам истории своей страны одну из самых ее горестных страниц.

II. Брауншвейгская фамилия

Это семейство, происшедшее от брака одной из внучек старшего брата Петра Великого, Иоанна V, с принцем Брауншвейгским, состояло в ту минуту из низверженного императора, его младшей сестры Екатерины и их отца и матери, принца Антона-Ульриха Брауншвейгского и принцессы Анны Леопольдовны Мекленбургской, бывшей правительницы. Первоначальные намерения Елизаветы относительно их были милостивы. Изгнанники должны были получить 30.000 рублей на путешествие и 50.000 руб. ежегодной пенсии. Василий Федорович Салтыков, которому поручено было сопровождать их, получил приказание ехать не останавливаясь и объезжая большие города. Увы! моим читателям уже известны случайности подобных путешествий в России; постоянные перемены и отмены данных распоряжений на пути к изгнанию, усугубляли горечь и ужас его. На первой же станции курьер догнал Салтыкова и передал ему приказание не спешить и останавливаться по несколько дней в каждом городе вплоть до Риги. Елизавета уже пожалела о первом своем порыве и хотела дать себе время на размышление. В Риге последовал опять сюрприз: приказание оставаться на месте впредь до новых распоряжений. Существовала некоторая связь между этими переменами и этапами другого путешествия – того, что совершал в то же время в обратном направлении будущий наследник престола, «Голштинский чортушка», как называла его Анна Иоанновна. Елизавета опасалась, пожалуй, что немецкая родня изгнанной семьи задержит по пути этого второго узурпатора, и она оставила на всякий случай заложников. Этот расчет, если он и существовал, осложнялся еще и другими соображениями. Бывшего императора и его родителей не только задержали в Риге, но и заточили в тюрьму. Вскоре мысль об отправке их на родину была вовсе оставлена.

По существующим предположениям, хирург и наперник Елизаветы, Лесток, был отчасти виновен в этом событии. Но мы находим следы и других советов, данных Елизавете в этих щекотливых обстоятельствах и стремившихся доказать ей, что, выпуская из рук сверженного императора, она не будет твердо сидеть на престоле. В особенности Фридрих II прилагал все старания, чтобы убедить ее в этом. Сам женатый на принцессе Брауншвейгской, что он не забывал подчеркивать в предыдущее царствование, хотя ненавидел свою жену и ее семью, он тем не менее с большим рвением силился устранить от себя всякое подозрение в симпатиях к молодому принцу, приходившемуся ему племянником. Салтыков, сам по себе хороший человек, имел в числе своих подчиненных лиц, желавших подслужиться. Они стремились усилить тревогу императрицы. Так, она узнала, что Анна Леопольдовна дурно обращалась с начальником своего конвоя, что прислуга будто бы спрашивала маленького принца: «Кому, батюшка, голову отсечешь?» А ребенок отвечал: «Василию Федоровичу».

Салтыков тщетно отрицал это. «Маленький принц почти ничего не говорит», утверждал он. Елизавета ему не верила. В течение всего своего царствования ее преследовал призрак сверженного соперника. Австрия, Швеция, даже Пруссия, казалось ей, вступались за него. Позднее, согласно некоторым данным, она даже подумывала о браке с грозным призраком, с тем, чтобы избавиться от этого наваждения. Но в это время, оставляя несчастную

семью в Риге, она советовалась со всеми, даже с Бироном, возвращенным ею из ссылки, причем она поселила его в Ярославле, запретив ему приезд в столицу и ко двору, как поступить с принцами Брауншвейгскими. Может быть, регент и внушил ей ее окончательное решение. 13 декабря 1742 г. вся семья была перевезена в большой тайне в Дюнамюнде, затем в январе 1744 г. в Ораниенбург, ныне Раненбург, Рязанской губернии. В этот промежуток времени Брауншвейгская фамилия увеличилась еще одним членом, принцессой Елизаветой, родившейся в тюрьме и прожившей в ней сорок лет. Ссылных по ошибке чуть было не свезли в Оренбург. В то время д'Аллион, французский поверенный в Петербурге, писал в Версаль следующие подробности:

«У этих высоких узников отняли всех иностранных слуг, за исключением г. Геймбурга, двух камердинеров, фрейлины Юлии (Менгден) и ее сестры. Первая, по-прежнему любимый идол принцессы Анны, уносит с собою верное доказательство того, что пламя любви может зажегься среди самых великих несчастий. Адонисом был гвардейский сержант».

В июле 1744 г. новая перемена, вызванная мнимым заговором, с которым в предшествовавшем году было связано имя маркиза Ботта, посланника Марии-Терезии. Фридрих тотчас же поспешил отстранить от себя всякое подозрение в сообщничестве, посоветовав Елизавете сослать гораздо дальше беспокойного племянника. Императрица восемь месяцев раздумывала над этим. Как мы увидим ниже, она не скоро принимала свои решения. Но данный совет даром не пропал. В июле майор Миллер получил приказание перевезти из Ораниенбурга в Архангельск и затем в Соловецкий монастырь четырехлетнего мальчика, которого ему передали под именем Григория.

То был бывший император.

Анна Леопольдовна была вновь беременна. Ее разлучили с мужем, как она думала, навсегда. Отняли у нее и Юлию Менгден, что являлось для нее, несомненно, худшим несчастьем. Изгнанники не знали, куда их везут. Лишь на берегу Белого моря все члены семьи вновь встретились вместе. Но настала зима и состояние льдов не позволило добраться до Соловков, так что пришлось ждать весны в Холмогорах. Камергер Николай Корф, заменивший теперь Салтыкова, посоветовал оставить там узников, и предложение его было принято.

В ста двенадцати верстах от своего устья Двина образует несколько островов. На одном из них стоят Холмогоры. Город этот состоял в то время приблизительно из ста пятидесяти домов, растянувшихся на протяжении двух верст вдоль единственной и извилистой улицы; внешний вид его немногим изменился с тех пор. Он считался, однако, одним из самых древних и известных городов в России, сыграв большую роль в истории Северо-Восточного края. До восшествия на престол московских царей он представлял собой очень значительный административный и коммерческий пункт, впоследствии его затмил Архангельск. Но еще при Петре Великом его собор Спаса Преображения, выстроенный из каменных плит в византийском стиле, считался красивейшим в Империи. В трех верстах от города лежит село, официально носящее название Денисовки, но прозванное крестьянами Болотом – месторождение великого Ломоносова.

Отыскивая тюрьму, где бы можно было поселить новых гостей, Корф нашел лишь дом архиерея; этому последнему пришлось искать себе убежища в другом месте. Высокий деревянный часток, охраняемый солдатами, совершенно отрезал от мира Анну Леопольдовну и ее товарищей по несчастью. Жители Холмогор не знали ни имени, ни звания узников. На содержание их губернатору выдавалось 10–15 тысяч рублей; но никому не приходило в голову спрашивать у него отчета в них, и случалось, что принц Антон, имевший привычку пить кофе по три раза в день, был лишен его целыми месяцами.

Юлию Менгден заменила по причинам, оставшимся неизвестными, ее сестра Бина (Якобина), явившаяся только лишней мукой для тех, чье заточение она должна была разде-

лить и смягчить. Это была ужасная особа! Ее ссоры с караульными офицерами и солдатами, бурные сцены с принцем Антоном, беззастенчивый роман с домашним доктором, Ножевщиковым, и постоянные скандалы доставляли неисчерпаемый материал для рапортов, отправлявшихся в Петербург. Наконец ее заперли в отдельную камеру; но она была солдат, приносивших ей есть, и выливала им на голову суп.

Среди всех этих испытаний Анна Леопольдовна родила в Холмогорах еще двух сыновей, принцев Петра и Алексея, и умерла в 1746 г. Толстый, полнокровный, находившийся всегда под угрозой апоплексического удара, ее муж пережил ее, однако, на тридцать лет. Дети росли, но они были рахитики и полуидиоты. В 1756 г. принц Иоанн, бывший император, исчез, выкраденный ночью гвардейским сержантом, в величайшей опять-таки тайне привезшим его в Шлиссельбург. За ним закрылись окованные железом двери каземата. Он целые годы не видел человеческого лица. В его камеру входили, предварительно приказав ему спрятаться за ширмы. Он никогда не узнал места своего заключения. Рапорты от 1759 г. изображают его, впрочем, не совсем нормальным. Но его тюремщики полагали, что он мог и симулировать сумасшествие. Во всяком случае, он, по-видимому, сохранил сознание своей личности. Шувалов велел его спросить через офицера: «Кто ты?»; он ответил: «Человек великий – принц! Мне подменили имя». В другой раз он сам гневно крикнул на того же офицера: «Как ты смеешь на меня кричать? Я здешней империи принц и государь ваш!» После этих выходок его лишили чаю и теплых чулок, чтобы посбить с него спеси. Но все это легенды, как и повесть о бегстве его в сопровождении монаха, доведшем узника до Смоленска. Один только раз, согласно почти достоверным данным, его вывели из каземата и повезли в герметически закрытой карете в Петербург, где Елизавета видела его, не раскрывая, однако, своего инкогнито.

Я рассказал в другом своем труде трагическую развязку этого долгого мученичества, действительную на этот раз попытку освобождения, в которой, однако, узник, по-видимому, сознательно не участвовал после двадцатипятилетнего заключения – это было в 1764 г. и загадочное убийство, которое никто не пожелал взять на свою совесть.

Екатерина II, бывшая в то время на престоле, решительно сняла с себя всякую ответственность за эту смерть, но до 1780 г. она ничего не сделала в смысле улучшения судьбы обоих братьев и обеих сестер несчастной жертвы. Отец их умер в 1775 г. Тогда только она нашла возможность уступить просьбе датской королевы, также приходившейся теткой узникам. Родня у них была знатная! Архангельский губернатор Мельгунов отправился в Холмогоры и возвестил несчастным радостную весть: их отправляют в Данию; они получают свободу и приличную пенсию. Вместо ожидаемых им восторгов, он увидел лишь изумление и испуг.

Принцесса Елизавета выразила приблизительно следующим образом общие чувства:

– Мы долго и страстно жаждали свободы; но на что она нам нужна теперь? Мы не умеем жить среди людей. Пусть императрица соблаговолит лишь разрешить нам гулять по лугам. Мы слышали, что на них растут цветы. Мы бы также желали видеться с женами офицеров, караулящих нас. Нам прислали из Петербурга одежду, корсеты, наколки. Мы не знаем, что с ними делать. Если императрице угодно, чтобы мы их носили, мы искренне просим ее прислать нам кого-нибудь, кто бы научил нас, как с ними обращаться.

– Других желаний у вас нет?

– Еще одно: во дворе построили баню, рядом с нашими комнатами; дом деревянный и мы боимся сгореть; нельзя ли нас избавить от этого соседства.

Большого Мельгунову не удалось добиться и от других членов семьи. Они, впрочем, говорили с трудом. Старшая из принцесс, Екатерина, оглохнув восьми лет, объяснялась с окружающими лишь знаками. Когда произносили имя императрицы, другие бросались на пол, дрожа всем телом.

Однако губернатору пришлось все-таки исполнить данное ему приказание. Принцев Брауншвейгских перевезли в город Горзенс, в Ютландии; каждый из них получил пенсию в восемь тысяч рублей. Принцесса Екатерина пережила сестру и братьев до 1807 г. До сих пор их могилы сохраняются в церкви маленького датского городка. Так закончилось непримиримое соперничество между двумя иностранными ветвями, Голштинской и Брауншвейгской, привитыми к стволу Романовых в силу смелой политики Петра Великого и его преемников. Но жертвами переворота 1741 г. явились еще и другие лица. Чтобы более не возвращаться к этому вопросу, расскажу тут же их судьбу.

III. Другие жертвы переворота

Перемена режима влекла за собой, в силу уже установившегося обычая, многочисленные аресты; брошенные сети захватывали всех известных или предполагаемых приверженцев старого режима. Фельдмаршал Ласси ловко увернулся от этого рокового последствия. Когда его внезапно разбудили в историческую ночь и спросили: «За какое правительство вы стоите?», он ответил не обинуясь: «За то, что стоит у власти». Менее счастливые, Миних, Левенвольд, Остерман и Головкин, встретились в казематах Петропавловской крепости вместе со множеством более мелких деятелей, Менгденом, Тимирязевым, Яковлевым. Комиссия под председательством генерал-прокурора князя Никиты Юрьевича Трубецкого занялась допросом обвиняемых и судом над ними. Хотя среди них были и русские, но судьи, по видимому, с этим не считались. То был процесс России против Германии. Судоговорение было краткое, обвинения мелкие, нелепые и гнусные. Миниху поставили в упрек, что он не защитил перед Бироном завещания Екатерины I, тогда как он первый стал жертвой фаворита. Согласно преданию, допрос его не был долог. На первый вопрос Трубецкого: «Признаете ли вы себя виновным?» – он ответил: «Да, в том, что вас не повесил». Этот Трубецкой был подчиненным фельдмаршала в Турецкую кампанию, в царствование Анны Иоанновны, и, имея на своем попечении провиантскую часть, два раза чуть не погубил армию Миниха.

Елизавета, скрытая занавесом, присутствовала на заседании суда. В силу ли женского любопытства или беспокойства государыни, не утвердившейся еще на престоле, Елизавета следила за всем процессом с начала до конца. Она слышала вопросы и ответы и приказала сократить следствие.

Легенда эта имеет под собою шаткие основания; она слишком плохо согласуется с документами процесса; как бы сомнительны они ни были. Миних изображается в них под гораздо менее героическим видом: он оспаривает шаг за шагом возводимые на него обвинения с большой тонкостью и некоторой наивностью. Приговор был составлен заранее, и он должен был это знать. Большинству обвиняемых предстояла смерть, согласно единогласному решению. Но какая смерть? Большинство судей стояли за то, чтобы просто обезглавить их. Послышался один голос, восставший против этой чрезмерной снисходительности и требовавший колесования для Остермана. Василий Владимирович Долгорукий, каким-то чудом избегнувший пыток, которым подвергались его родные, только что вернувшийся из ссылки и превратившийся в судью, думал лишь о том, как бы дать побольше работы палачам. Жестокий режим воспитывает безжалостных людей. В этом судилище все таковыми и были. Елизавета сидела тут же за занавесом, и слишком опасно было принимать сторону осужденных; итак, решено было, что Остермана будут колесовать, Миниха четвертовать, а топор приберегли для мелкой сошки.

17 января 1742 г. толпа, тем более жадная до кровавых зрелищ, чем чаще их ей дают, собралась на Васильевском острове вокруг эшафота, сколоченного из простых досок. Ни черной обивки, ни красного ковра; смерть и мучения в самом незатейливом уборе! Императрица уехала накануне в один из загородных домов. Такой был всегда ее образ действий

в подобных случаях: обнаружить чувствительность и, закрыв глаза, предоставить другим поступать как бы по своему усмотрению. Впрочем, она не намеревалась дать полную волю кровожадности судей. В сущности, она желала строгих кар лишь для того, чтобы иметь возможность проявить милосердие, которым кичилась.

Не владевший, вследствие подагры, ногами бывший канцлер Остерман был привезен в санях на место казни. Он появился в легендарном костюме, уже десять лет известном европейскому дипломатическому миру: старой лисьей шубе, коротком парике и черной бархатной шапочке. Он выслушал свой приговор со свойственным ему выражением сосредоточенного внимания, кивая головой в некоторых местах или поднимая глаза к небу. На эшафоте ему объявили, что императрица, в своем милосердии, четвертовать его не приказала и что ему просто отрубят голову. Он добровольно отдался в руки палача; повинувшись всем его указаниям, он заложил руки назад, которые держал прежде вытянутыми вперед. Ему сняли парик, расстегнули ворот рубашки, и палач уже выхватил топор из мешка медвежьей шкуры, когда внезапно, как в театре, произошла новая перемена действия, и ему объявили новое полупомилование: смертная казнь заменялась вечной ссылкой.

Может быть, несчастный Остерман этого и ожидал. Хорошо изучив державных женщин, он, пожалуй, предугадал эту чисто женскую по своей жестокости и коварству сцену. Подручный палача выпрямил его ударом ноги; он спокойно спросил свой парик, аккуратно застегнул шубу и стал ждать, чтоб с ним поступили по воле ее величества. Толпа зароптала. Зрелище обрывалось, и толпа предвидела дальнейшие разочарования того же порядка. Кровь, действительно, не была пролита. Но понадобилось заступничество стражи, дабы помешать зрителям по-своему изменить характер представления.

Остерману пришлось ехать в Березов, ужасный сибирский поселок, уже известный моим читателям. Его жена пожелала последовать за ним, и она же привезла оттуда его тело в 1747 г. Елизавета лишилась таким образом слуги, равного которому ей было не найти. Как государственный деятель, Остерман не был совершенством. Бирон едкой, но верной черточкой отметил свойственные ему привычки: «Когда выходил флот с артиллерией, тогда он... был болен. Когда пришло известие, что взят (наш) фрегат с 3 пакетботами и иностранные корабельщики имели еще много подобных известий, то он говорил точно так же... Но когда флот возвратился со славою, то он был здоров и принимал участие в том: не хорошее ли решение приняли мы? говаривал он и тому подобное». Но с этими слабостями соединялись крайне редкие умственные дарования и совершенно исключительное ввиду эпохи и среды благородство: будучи почти полновластным хозяином внешней политики, бывший канцлер проявил чрезвычайно ясное понимание интересов страны, неослабное рвение в служении им и вместе с тем отошел от власти почти бедняком. В 1741 г., по подписании трактата с Англией, он даже отказался от обычного вознаграждения в пятнадцать тысяч фунтов, попросив для себя перстень или какой-либо художественный предмет; его же коллеги, с Черкасским во главе, хотя и чрезвычайно богатые, предпочитали брать деньги. Мне еще придется говорить, насколько устранение его от дел отозвалось на царствовании Елизаветы.

Миних был немцем совершенно иного типа. В нем не было почти чрезмерной простоты Остермана; наоборот, он был театрален в своем героизме, чему его раса являет примеры более частые, чем то принято думать. Свежевыбритый, тогда как его товарищи по несчастью отпустили себе бороды в тюрьме, одетый в лучший мундир, в красной парадной шинели на плечах, он взошел на эшафот с улыбкой на устах, окидывая властным взором враждебно настроенную толпу и фамильярно здороваясь с знакомыми ему солдатами. Его сослали в Пелым, откуда в то же время Елизавета указом вернула Бирона. На одной почтовой станции под Казанью соперники встретились и раскланялись, не обменявшись ни словом.

Пелым, сибирский город в трех тысячах верстах от Петербурга, насчитывал тогда двадцать деревянных домов. Миних жил в доме, обнесенном высоким частоколом, подобным

тому, что скрывал холмогорских ссыльных. Окружающий мир представлял собою болото, мерзлое зимой, а летом выславшее такое количество мошкары, что нечем было дышать и приходилось держать лицо закрытым. Три летних и солнечных месяца, затем стужа и темнота. Съестные припасы доставлялись из Тобольска, за семьсот верст. Бывшему фельдмаршалу выдавалось по два рубля в день на продовольствие. По примеру госпожи Остерман, и его жена последовала за ним. Кроме довольно многочисленной челяди, он взял с собою пастора. Можно себе представить, какие лишения ему пришлось претерпеть. Героя, о котором Екатерина II говорила, что если он и не был сыном России, то был ее отцом, Россия, в лице дочери самого великого из ее детей, обрекла на двадцать лет подобной жизни, но не надо забывать, что то была эпоха Бинга, Дюплекса и Лабурдонне.

Миних выдержал это испытание с мужеством, которое само по себе достойно нашего удивления. Сохранилось несколько писем к его брату, оставшемуся в Петербурге. В них мы не найдем ни единой жалобы. Конечно, изгнанник знал, что его переписка читалась не одним только адресатом. Он объявлял себя чрезвычайно довольным своей судьбой и благодарным императрице за ее благодеяния! Рассказывал, как он каждый день за столом пил за здоровье государыни мед, ввиду того, что французское вино стоило слишком дорого. Эти подробности предназначались, вероятно, для перлюстраторов тайной канцелярии. А вот другие черточки и для историка. Занимаясь зимой починкой неводов и изготовлением клетей для кур, ставучанский герой превращался летом в земледельца. Режим высокого частотола, по-видимому, допускал некоторые послабления; он брал в аренду местные тощие луга, собирал после сенокоса работников и пировал с ними. Он сохранил крепкое здоровье и неизменное хорошее настроение. Жена его, деятельная хозяйка, собственными руками шила белье на весь дом и забывала всю грусть своего положения, видя мужа таким веселым и здоровым; в местных преданиях она оставила светлое и доброе воспоминание.

Несомненно, муж ее был менее искренен в своем смирении. С внешней стороны его поведение было безупречно, но то была одна лишь видимость. В начале своего изгнания ему запрещено было писать. Он объявил, что имеет сообщить нечто весьма важное императрице; ему разрешили писать, и он тотчас же завалил работой секретарей государыни. Он посылал в Петербург груды бумаг, бесконечных проектов, касавшихся администрации, военного дела, общественных работ и политики, свидетельствовавших о необыкновенном богатстве воображения и смелости замыслов. Он предлагал даже перекинуть мост через Балтийское море для соединения эстляндского побережья со Швецией. Однако, если проекты его и были остроумны, то нередко сопровождавшие их письма к Елизавете доказывали, что ему несладко жилось в Пелыме, и что он не пренебрегал никакими доступными ему средствами, чтобы отсюда выбраться. Он пытался затронуть в сердце и уме государыни все струны, способные зазвучать в его пользу: самолюбие и любовь к родителям, любопытство и страсть к роскоши, великодушие и набожность. Желала ли она иметь между Кронштадтом и Петербургом, на пространстве пятидесяти верст, тотчас же загородные дома, сады, фонтаны, водопады, бассейны и резервуары, парки, все по чудесному плану Петра Великого, ей стоило сказать лишь слово – слово, которое вернуло бы Миниха на берега Невы. Он мог сделать все это и еще многое другое. Он мог перещеголять Версаль и изумить мир, раскрыв некоторые замыслы великого царя, известные ему одному. Он не просил ни чинов, ни пенсии, объявляя себя согласным быть дворником ее величества, лишь бы она разрешила ему умереть у ее ног. Он впадал в лиризм:

«Не слышите ли вы, Августейшая Императрица, высокомиловитая и заботливая мать своей родины, не слышите ли вы те многочисленные труды, те славные предприятия Петра Великого, что взывают к вам ежечасно, заступаясь за меня, и восклицая: „Почему, Елизавета Петровна, не слушаете вы Миниха?.. Протяните руку скорбящим, выведите их из бедственного положения, и Спаситель протянет и вам руку, когда вы предстанете пред Ним“...

Елизавета ничего на это не отвечала и положила конец переписке, отменив разрешение писать, которым он злоупотреблял. Час избавления пробил для него наконец, когда ему минуло уже восемьдесят лет и когда, вследствие ссоры с караульным офицером, ему грозили следствие и пытка. Курьер, посланный из Петербурга, предупредил несчастье. Елизавета скончалась, и Петр III призвал к себе доблестного воина. Миних стоял на молитве, когда пришла радостная весть, и его жена задержала курьера, пока он не кончил молиться. Месяц спустя он был уже у ворот Петербурга на скверных почтовых санях, в заплатанном тулупчике, сменившем на его плечах пурпур минувших дней. Тем не менее возвращение его было триумфальное: все старые товарищи по оружию бросились навстречу воскресшему герою, сопровождая его до роскошно отделанного дома, где его ожидал заслуженный покой. Но он отдыха не желал. Он тотчас же проявил стремление управлять всем и всеми, начиная с самого императора. Он не мог удержать его от гибели, но попытался защищать его до конца, и Екатерина, противником которой он таким образом являлся, простила старику; но она устранила его от себя, поручив ему управление портами; на этом посту он и умер в 1767 г. В 1764 г., в восемьдесят лет, он еще писал красавице графине Строгановой записки вроде следующей:

«Преклоняю пред вами колена и нет места на вашем чудном теле ... которое я не покрывал бы, любясь им, самыми нежными поцелуями»...

Он подписывался: «Нежно любящий старик».

Он был авантюристом восемнадцатого века, ярко отмеченным печатью своего времени и своей породы, – честолюбивый, хвастливый, свободный от предрассудков, проявлявший на войне инстинкты дикого зверя, а в частной жизни чрезмерную чувственность, но обладавший вместе с тем самыми прекрасными семейными добродетелями и некоторыми чертами подлинного величия. Он дурно обращался со своими солдатами, но они его обожали. Он говорил им, что они лучшие солдаты в мире, а они называли его «ясным соколом». В России у него нет иного памятника кроме лютеранской церкви в С.-Петербурге, где он похоронен и где находится прекрасный портрет его, написанный одним из соотечественников незадолго до его смерти.

Адъютант Миниха и главный пособник его в ночном перевороте против Бирона, Манштейн, автор столь известных «Записок», отделался в 1741 г. лишь потерей своего полка. Ему пришлось взять гарнизон на сибирской границе; в 1745 г. он получил разрешение путешествовать, чем воспользовался для того, чтобы перейти, не выходя в отставку, на службу Пруссии, и был убит в 1757 г. в стычке с отрядом кроатов. Оценив его бесстрашие, Фридрих составил для него следующую эпитафию: «Знаменит тем, что завязал сражение под Прагой и был виновником поражения при Колине».

Германия восемнадцатого века дала России лучших представителей, чем этот воинственный рубака, но дала и худших. Когда князь Шаховской, отправлявшийся к месту их назначения приговоренных 1742 г., вошел в тюрьму, то вздрогнул, увидев перед собой высокую фигуру Миниха, его пламенные глаза и услышав властный голос бывшего фельдмаршала. Ему почудилось даже, что роли их переменились. Но зато изможденный, растерянный, небрежно одетый, с лицом, перекошенным от ужаса, красавец Левенвольд, бывший обер-гофмаршалом и законодателем мод при дворе Анны Иоанновны, представлял собой в своем каземате человеческое отрепье, внушавшее столько же отвращения, сколько и жалости. Его сослали в Соликамск, Пермской губ., обвинив, главным образом, в том, что на одном банкете он поставил куверт Елизаветы не на надлежащее место. Он там и умер в 1758 г.

В общем, крутые меры, которыми Елизавета положила начало своему царствованию, ограничились лишь этими дальними ссылками и представляли собой некоторого рода прогресс. Дала ли она, действительно, обет отменить смертную казнь или нет, но она оправдала предание, уже создавшееся на этот счет. Даже пытка не была пущена в ход во время

следствия. Но к ней, увы! скоро вернулись. В этом наспех введенном процессе оказались и недочеты. Так приговор вице-канцлера Головкина обрекал его на ссылку в Германг. Но ни на одной карге не удалось отыскать этой местности. Начальник отряда Берг долго искал ее в окрестностях Иркутска и Якутска, подвигаясь вперед наудачу, как при путешествии в незнакомой стране. До сих пор точно не известно, в каком месте Головкину пришлось отбыть свое наказание. Его точно так же сопровождала жена. Он умер в 1755 г., и тело его было привезено обратно графиней Головкиной, рожденной Ромодановской, проявившей затем, в течение еще многих лет продлившейся жизни, столько достоинства и постоянства в почитании памяти усопшего, что образ ее является одним из наиболее привлекательных в данную эпоху. Таким образом, женский элемент, выведенный Петром Великим из своего унижения, подавал его дочери высокие примеры доблести, которым она, однако, не всегда следовала.

В распределении наказаний также обнаружилась неравномерность. Новая императрица не хотела или не посмела коснуться новгородского архиепископа Амвросия Юшкевича, принадлежавшего, однако, к числу самых преданных сторонников бывшей правительницы. Впрочем, он поспешил принести повинную в проповеди, склонившей также Елизавету отменить приказание, данное Анной Иоанновной, не говорить длинных проповедей.

В данном случае, как и во многих других, советники Елизаветы в начале ее царствования не выказывали больших дарований и были взяты из нового штата людей, призванных к власти государственным переворотом.

IV. Новый штат

Этот штат набрался и пополнился отчасти из случайных элементов. Елизавете нечего было и думать об управлении с помощью горсти гренадеров, донесших ее на руках до порога Зимнего дворца. Пока занимались арестом высших сановников прежнего режима, Воронцов и Лесток спешно собирали наименее скомпрометированных из служивших тому же режиму гражданских и военных чиновников. Таким образом, еще до восхода солнца во дворец явились: генерал-прокурор Трубецкой, адмирал Головин, начальник тайной канцелярии Ушаков, несколько немцев, среди них даже Бревен, секретарь кабинета, и, наконец, вслед за князем Алексеем Михайловичем Черкасским, – личностью чисто декоративной, – великий государственный деятель ближайшего будущего – Алексей Петрович Бестужев. С последним Лесток всегда поддерживал хорошие отношения. Он не задумываясь указал на него, как на заместителя Остермана, и Бестужев и составил оба манифеста, которыми Елизавета возвестила о своем восшествии на престол. Ему временно вверено было управление почтовым ведомством. Его брат Михаил заменил Левенвольда в должности обер-гофмаршала и для него наспех собрали достаточное количество подчиненных. Мардефельд писал по этому поводу Фридриху:

«Наряды, одежда, чулки и тонкое белье графа Левенвольда были розданы камергерам императрицы, которым нечем прикрыть свою наготу... Из четырех камер-юнкеров, только что получивших это назначение, двое были прежде лакеями, а третий служил конюхом».

В декабре кабинет министров был упразднен, и Сенат занял опять первенствующее положение, «как было при Петре Великом». Он состоял из четырнадцати человек; лишь пять прежних сенаторов были исключены из собрания, именно те, что были назначены Анной Леопольдовной. Злопамятность Елизаветы дальше этого не простиралась. Вместе с тем фельдмаршалы Михаил и Василий Долгорукие, томившиеся в домах заключения при Анне Иоанновне сперва в Шлиссельбурге, затем в Соловках, были восстановлены в своих чинах. Вся семья Долгоруких, претерпевшая столько невзгод в предшествовав-

шие царствования, снова всплыла на поверхность. При дворе появился Николай Долгорукий, лишенный языка рукою палача, Александр Долгорукий, возвратившийся с Камчатки, и бывшая невеста Петра II, княжна Екатерина. Киевский митрополит Ванатович, проведенный десять лет в заточении в Белозерском монастыре за то, что забыл день рождения Анны Иоанновны, был выпущен на свободу и получил обратно свой пастырский жезл. Когда понадобился полицмейстер, вспомнили о Девьере, сосланном в Охотск Меншиковым в 1727 г. вместе с Бреверном, и другие немцы, как Сивере, Флюк, вереницей потянулись за этим португальцем в канцелярии, которые надо было наполнить служащими. Во все эпохи национализм допускал некоторые компромиссы.

С любопытством ждали появления Алексея Ивановича Шубина, красавца-сержанта, заподозренного не без основания Анной Иоанновной в том, что он питал к ее племяннице чувства более пламенные, чем уважение, и тоже сосланного в Сибирь. Елизавета уже добилась от Бирона и затем от Анны Леопольдовны указа о его возвращении. Но, согласно обычаю, ссылкой, подобным Шубину, давали другие имена, и его долго не могли найти. В момент воцарения Елизаветы его только что отыскивали на Камчатке. Но ему надо было проехать пятнадцать тысяч верст. Вернувшись в Петербург, он узнал, что его цесаревна стала императрицей, и что возвращение его ожидалось уже не столь нетерпеливо, как прежде. У Елизаветы было широкое сердце; но в данное время Разумовский владел этим сердцем безраздельно, и для соперника в нем уже не оставалось более места. Впрочем, красота Шубина потерпела ущерб от его пребывания на Камчатке. Он получил чин майора в Семеновском полку и генерала в армии, орден Александра Невского и поместье в Нижегородской губернии, где он и схоронил свое разочарование.

Появилась снова и знаменитая Яганна Петрова, **Frau Iohanna**, как ее звали, – по фамилии Шмидт. Екатерина I за интимные услуги подарила ей дом и обеспечила пенсией; она перешла затем на службу к Елизавете, подверглась допросу в тайной канцелярии в 1735 г. за непочтительные отзывы о Бироне, произнесенные в его присутствии, была приговорена к пытке и смертной казни, но отделалась наказанием плетьюми и долгим заточением в одном из сибирских монастырей.

В январе 1742 г. дети несчастного Волынского, казненного при Анне Иоанновне, получили обратно земли, конфискованные у их отца; вместе с тем вернулись из ссылки бывший регент Би-рон, со своими братьями и приверженцем, генералом Бисмарком. Бироны поселились в Ярославле, а Бисмарк вновь поступил на службу в армию.

Однако сообщники переворота требовали своей части милостей. Согласно несколько сомнительным данным, Лесток просил почетной отставки. Присмотревшись близко к тому, как производятся перевороты, он из осторожности хотел избежать второго подобного опыта. Но вообще осторожность у этого выдающегося по смелости авантюриста является неправдоподобной чертой. Впрочем, по милости Елизаветы у него явились веские причины отказаться от своего решения, если бы он его и принял. Вместе с производством в действительные статские советники, он занял должность первого придворного медика с пенсией в семь тысяч рублей, и ему вверено было управление медицинской коллегией, т. е. дана была бесконтрольная власть раздавать свидетельства на лекаря. Он их роздал очень много.

Воронцов получил чин поручика в гренадерской роте Преображенского полка, той, что сопровождала цесаревну в ночь с 25 на 26 ноября. Эта рота – капитаном ее стала сама Елизавета – была превращена в лейб-компанию. Правительница Софья уже имела таковую, но ей не пришлось в голову назвать ее немецким именем. В то время ее называли надворной пехотой. Штабс-капитан лейб-компании возведен был в чин генерала, и место его занял опять-таки немец, князь Гессен-Гомбургский. Вторым поручиком назначен был Разумовский, одновременно получивший и должность камергера, тогда как обоим Шуваловым, будущим героям нового царствования, пришлось удовольствоваться чином подпоручиков.

Простые сержанты этого полка считались подполковниками. Все, офицеры, унтер-офицеры и рядовые солдаты, получили свою долю при раздаче земель, за счет жертв переворота. Бывшему маклеру-торговцу драгоценностями, еврею Грюнштейну, досталось 927 христианских душ; к ним Елизавета прибавила еще две тысячи душ по случаю его свадьбы, на которой она сама присутствовала. Он оказался и дворянином, ввиду того, что потомственное дворянство было даровано всем лейб-кампанцам, не имевшим его. Простой солдат Илларион Спиридонович Волков, будучи произведен в капралы, приобрел право на герб с тремя зажженными гранатами на черном поле. Однако три гвардейских полка тоже предъявили свои права на коллективное вознаграждение, а вслед за ними и Ингерманландский и Астраханский полки, первые выразившие свою преданность новому режиму. Им роздали деньги, и они все же считали себя обойденными; между тем гвардейцы, несшие караульную службу в покоях цесаревны, получали по десяти рублей в сутки.

Но чем больше давали тем и другим, тем требовательнее они становились. По Петербургу вскоре пошли слухи об излишествах, которым предавались герои дня. Рапорты прусского посланника Мардефельда, подкрепленные другими свидетельствами, рисуют их нам пререкающимися с Черкасским, занявшим место великого канцлера и с трудом отбивавшимся от их требований и дерзостей. Тщетно разъясняли им, с каким знатным вельможей они вступали в споры:

– Вельможа-то он, только пока нам это угодно!

Описывая, в частности, солдат лейб-кампании, которых он называет «гренадерами-творцами» или «взрослыми детьми Елизаветы», корреспондент Фридриха прибавляет еще следующие подробности:

«Они из дворца не выходят; получая в нем хорошее помещение и хорошую пищу... разгуливают по галереям, во время приемов ее величества расхаживают между высокопоставленными лицами... играют в фараон за тем же столом, где сидит императрица, и ее снисходительность к ним настолько велика, что она даже подписала указ о чеканке фигуры гренадера на обратной стороне рублевой монеты... Я знаю случай, когда один гренадер пожелал купить глиняный горшок за три копейки; продавец же не соглашался отдать его дешевле шести копеек, тогда тот прицелился из своего ружья и убил его на месте».

Английский министр Финч рассказывает, в свою очередь, что, когда один из этих солдат был наказан принцем Гессен-Гомбургским за особо безобразную выходку, все его товарищи решили не появляться больше при дворе. Елизавета взволновалась:

– Где же мои дети?

Узнав, в чем дело, она отменила наказание; можно себе представить, какое это произвело действие. Всеми способами она старалась укрепить в лейб-кампаниях мысль, что новый режим, созданный при их помощи насильственным путем, нуждался в них и в дальнейших насильственных действиях, чтобы удержаться у власти. Много позднее, гуляя в Летнем саду, она встретила солдата, расплакавшегося при виде ее.

– Что ты плачешь?

– Нам сказали, матушка, что ты собираешься уступить престол твоему племяннику.

– Это неправда, и я позволю тебе убить всякого, кто повторит эту ложь в твоём присутствии, будь то сам фельдмаршал.

Встречая подобное поощрение, они вообразили, что им все дозволено. В полицейском рапорте того времени мы читаем, что один из них похитил среди бела дня из одной лавки молодую прислужницу и продал ее за три рубля архимандриту. Немец Шварц, товарищ Грюнштейна, был убит вилами крестьянкой, которой он старался доказать, что лейб-кампании ни в чем не может быть отказа.

Тем не менее между Елизаветой и творцами ее счастья с первой же минуты возник повод к разногласию, все более и более обострявшийся. Вопреки иностранному элементу,

который новый режим содержал в себе и сохранял, хотя бы и против воли, национализм все же являлся его лозунгом и борьба с иностранцами входила в его программу. Вдохновляясь им и думая заслужить этим высшее благоволение, епископ Амвросий Юшкевич громил с кафедры пришельцев-еретиков, а в Москве архимандрит Кирилл Флоренский клеймил, называя их по имени, «человекоядов-птиц». Он имел в виду Миниха и Остермана.

Один памфлет изображал двух солдат Якова и Симона, разговаривающих о Бироне.

«Как объявили нам... Бирона правителем Российского государства, – говорил Яков. – так у меня, братец, по коже подрало, как медвежьим ногтем». Хотя Бирона больше и не было, но зато во главе лейб-кампании стоял принц Гессен-Гомбургский: Миних был сослан в Пелым, но брат его заменил Салтыкова в должности обер-гофмейстера.

Генерал Любрас соперничал с Голицыным для получения места уполномоченного на конгрессе в Або и взял верх над ним. Вскоре, с приездом герцога Голштинского, нахлынула новая волна немцев, и гофмаршал его высочества Брюммер делил с Лестоком – тоже полунемцем – милости Елизаветы и фактическую власть. Заговорили было даже о возвращении Остермана и Левенвольда!

Того требовала логика вещей. Будучи дочерью Петра Великого и продолжательницей его дела, как она заявила, предъявляя свои права на престол, Елизавета не могла отгородиться от тех, кто входил в «окно, прорубленное в Европу». А в числе входивших были люди, подобные Лестоку и Брюммеру. В мыслях Преобразователя эта система открытого окна заключала вместе с тем известный корректив: пользоваться иностранцами, отодвигать их на второй план. Но некультурным умам, окружавшим в ту минуту Елизавету, среди революционного кризиса, куда они кинулись вслед за ней, было трудно понять и осуществить эту мысль.

В апреле 1743 г. русские солдаты напали в трактире на немецких офицеров, игравших на биллиарде.

«Шведские каналы! – кричали они, – у нас указ есть вас всех перебить, немецких собак, всех сегодня перевешают!» Пришлось вступиться властям, и главные виновники были приговорены к четвертованию; но Елизавета вступилась еще раз и заменила пытку смехотворным наказанием – простым переводом в другой гарнизон, тогда как оскорбленные офицеры были посажены под арест. Вследствие этого мятежный дух лишь развивался, и несколько месяцев спустя, под Выборгом, в гвардейских полках, посланных против Швеции, он чуть не породил настоящего бунта, к счастью, подавленного, благодаря хладнокровию генерала Кейта и поведению армейских полковников. Но приостановленное с этой стороны, брожение перекинулось в другую сторону, изменив свой характер. Среди выдающихся героев ноябрьской ночи 1741 г. был сержант лейб-гвардии Ивинский. Он разбудил и вытащил из постели Анну Леопольдовну. В марте 1743 г. он попал в тюрьму, как виновник заговора, в который он пытался втянуть госпожу Грюнштейн, обещая ей жениться на ней после того, как он убьет ее мужа и всех иностранцев, пользующихся милостями Елизаветы.

Несмотря на все это, лейб-кампания все же сохранила свое привилегированное положение. В 1748 г., когда Петра Шувалова торопили с отсылкой некоторых военных бумаг, он отвечал: «Прежде я займусь делами лейб-кампании. Лейб-камpanцы прежде всего. Таково приказание императрицы!» С другой стороны, попытки восстания или контрреволюции в смысле ультра-национальном не удались по двум причинам: во-первых, потому, что Россия, какую ее сделал Петр Великий, не могла уж обойтись без иностранцев: они были нераздельны с ее системой, и во-вторых, потому, что дочь Преобразователя не имела серьезного соперника. Выбор лежал между нею и пустотой. Маленький принц Брауншвейгский, рожденный принцессой Мекленбургской, и по прихоти Анны Иоанновны провозглашенный русским императором, представлял действительную пустоту, какой бы страх он ни внушал той женщине, что так легко свергла его с престола. Лишь вмешательство иностран-

ных государств могло оживить этот призрак, но его не последовало. Елизавета короновалась в Москве, и ни одно чело не поморщилось ни под одной европейской короной.

V. Коронование

Иностранные державы привыкли к политическим переворотам, принявшим в России спорадический характер. Несмотря на то, что Франция как будто принимала участие в перевороте, может быть, именно вследствие этого, ее странная и капризная союзница, Пруссия, одна могла внушать некоторые опасения. Но отношение Фридриха к новой императрице уже выяснилось. Мардефельд не разделял симпатий Шетарди к Елизавете, но он по своему характеру не позволял своим чувствам властвовать над собой. Он изливал их в насмешках, которыми старался угодить своему повелителю, дополняя их, однако, следующими комментариями: «Я не намерен этими замечаниями оспаривать права царствующей красавицы-императрицы. Разум мой пленен, благодаря чему я и нахожу их неоспоримыми, и я вполне убежден, что дело, поддерживаемое преторианской гвардией, является всегда самым верным и справедливым в мире». Фридрих, в свою очередь, чрезвычайно удивился, узнав, что в Петербурге предполагали, что он возьмет сторону бывшей правительницы и задержит молодого герцога Голштинского при его проезде. «Меня, значит, считают весьма плохим политиком». Будучи союзником Франции, он боялся лишь одного: что восшествие на престол Елизаветы предоставит «слишком широкое поле деятельности» для дипломатии этой державы, и поспешил отправить в Версаль, не предупредив барона де-Шамбре, своего министра при французском дворе, другого агента, Зума, со специальным поручением смешать все карты. Это был тоже в своем роде «секрет короля». Политика того времени была полна ими.

Тем не менее планы и политические комбинации Фридриха подвергались значительным изменениям, вследствие неожиданной революции в России. Пренебрегая вежливостью относительно Франции, он собирался вступить в договор с Австрией через посредство лорда Гиндфорда. Воцарение Елизаветы, совпавшее с падением Праги, взятой штурмом Морицом Саксонским (26 ноября 1741 г.) и с коронованием во Франкфурте (24 января 1742 г.), поставившим во главе империи кандидата французского короля, меняло положение. Согласно Мардефельду, «гренадеры-творцы» прикладывались к руке Шетарди, называя его спасителем и отцом. Никто не мог предвидеть поражения, вскоре завершившего мнимую победу французской дипломатии, основанную на недоразумении, поражения, которое положило начало совершенно иной системе внешней политики, сосредоточившейся не в Версале, а в Вене. Фридрих сделал крутой поворот, и Елизавета услышала от него лишь ласковые и поощрительные слова.

Посланный в Киль за новым наследником, барон Корф вернулся 5 февраля 1742 г., не встретив никаких затруднений со стороны прусского короля. Императрица тотчас же возложила на своего племянника андреевскую ленту, поручила Симону Теодорскому приготовить его к принятию православия, торжественно отпраздновала день его рождения — ему минуло четырнадцать лет — и увезла его в Москву.

Путешествие совершилось в линейке, безрессорном экипаже, которому по этому случаю придали огромные размеры, превратив его в настоящий дом на колесах. Внутри стоял стол и стулья вокруг него. Дорога была окаймлена молодыми соснами, образовавшими непрерывную аллею с беседками в местах остановок. В деревнях и селах сосны заменялись двойной живой изгородью мужчин с одной стороны, женщин с другой, распростертых ниц. Колокола звонили, из монастырей выносили иконы. При наступлении ночи на известном расстоянии одна от другой горели бочки со смолой.

В Москве Мардефельд отметил зловещие приметы: повреждение триумфальной арки, потерю во время пира жемчужного ожерелья императрицы, неудачную иллюминацию

и наконец пожар Преображенского дворца, места рождения Елизаветы, накануне того дня, когда она собиралась дать в нем праздник. Но если бы подобные неудачи действительно приносили несчастье России, она была бы обречена на самую печальную судьбу, а этого мы, однако, не видим. Коронование, совершенное 25 апреля 1742 г., прошло без дальнейших неприятных инцидентов, благодаря умению распорядителя церемонии, француза Рошамбо. Елизавета воспользовалась этим случаем для раздачи наград части своей свиты, обойденной ею до тех пор. Она вспомнила или нашла нужным напомнить обществу, что у нее была семья, кроме племянника, вызванного ею издалека. Не менее близкими по крови были ей и родные ее матери, Скавронские, Гендриковы, Ефимовские, простые крестьяне. Она превратила их в графов и камергеров, но при новых титулах и под новыми одежаниями они все же сохранили отпечаток своего происхождения и воспитания.

Чтобы не обойти никого, она сделала Разумовского обер-егермейстером и пожаловала ему орден св. Андрея Первозванного и, чтобы не принести прошлое всецело в жертву настоящему, произвела Бутурлина в генералы и поручила ему управление Малороссией. Малороссия была этим, вероятно, польщена; этот бывший фаворит был еще очень красив. Впрочем, его красота так и осталась единственной его заслугой.

Покончив с этими делами, императрица предалась одним удовольствиям и доставила их себе очень много. Москва, где она переживала вновь свои молодые годы, оставалась всегда ее любимым местопребыванием. Она чувствовала в ней себя свободнее и прекрасно обошлась без сгоревшего дворца. В стране, где дворцы воздвигались в шесть недель, затруднения в этом отношении представиться не могло. Балы и маскарады, на которые она собирала по девятисот приглашенных, следовали один за другим в ее доме на берегах Яузы и в Покровском.

Она приостановила празднества 7 ноября 1742 г., когда издала манифест, даровавший герцогу Голштинскому, закончившему свои занятия с Теодорским, титулы наследника престола, императорского высочества и великого князя и имя Петра Федоровича. Она таким путем подтверждала свое намерение не выходить замуж, что являлось, несомненно, мудрым решением. Она могла бы вступить в брак лишь с иностранным принцем, а дух нового режима и настроение лейб-кампанцев с трудом бы с этим примирились. Они желали видеть ее на престоле такую, какою они ее на него возвели, связанную только с ними памятью о Петре Великом, и свободной, хоть с внешней стороны, от всяких других обязательств. Она им не изменила, осталась Царь-Девницей, чудесной девой русских легенд.

Весьма вероятно, что мысль о другой Елизавете, сравнение с которой было ей приятно – что и угадал Вольтер, – в данном случае возымела на нее некоторое влияние.

Бывший герцог Голштинский, конечно, был тоже иностранцем. Но Елизавета рассчитывала, что, возвращенный в столь раннем возрасте семье, вере и родине его матери, он в скором времени стряхнет с себя всякие следы своего прошлого. Правда, он сохранил за собой свое герцогство и привез в Россию его представителей в лице Брюммера и других. Но что значили этот скромный надел и горсть отощавших чиновников среди великой и могущественной России!

Они бы, действительно, не имели никакого значения, если бы в наследии Петра Великого не обнаружилось течение, совершенно противное тому делу ассимиляции, которое приходилось теперь вести, чтобы сделать внука Великого Петра достойным наследовать своему деду. В мыслях Петра «прорубленное окно» было прежде всего выходом. Европа же – в особенности ее немецкая часть – превратила его главным образом во вход. Она прочно осела на берегах Невы и заняла здесь первые места. Молодой герцог Голштинский не видел родины своей матери на Невском проспекте, среди двойного ряда немецких лавок, ганзейских контор и лютеранских храмов. Его небольшой немецкий двор нашел здесь свой родной

уголок, целый маленький народец, говоривший на том же языке, питавший в сердце те же чувства, что и сами голштинцы.

Елизавета могла бы отделить своего племянника от этой среды. Но как это было сделать? Куда его было девать? Держать его среди лейб-кампанцев, Разумовских, Бекетовых, Шуваловых, окружавших ее? То был ее собственный домашний круг. Но она понимала, что сыну ее сестры не место среди него. Она и предоставила ему отгадывать или подглядывать сквозь замочные скважины или щели, проделанные в перегородках, тайны ее личной жизни. За невозможностью сближения с собой она позволила ему сходить с лицами, менее всего подходившими к его новому призванию. Его роковым образом и неудержимо привлекала та другая группа связей, к которым он стремился в силу очевидного перевеса наследственности со стороны отца. Он в этой среде и утвердился, и рос иноземным дикарем, не поддававшимся прививке русского духа, склонным смотреть, как на ссылку, на свое переселение в страну, которую он никогда не считал своей, хотя она и сулила ему корону; он питал к своей новой родине лишь презрение и ненависть и в душе был более ярким немцем, чем все принцы Священной Империи, взятые вместе, в силу того, что его чувства неизбежно обострились среди вечного конфликта между его официальным положением и личными вкусами.

На это повлияли и случайные обстоятельства. С приездом немецкой принцессы, предназначенной ему в жены, дочери генерала прусской службы, умело выбранной и указанной Елизавете Фридрихом, великокняжеский двор стал еще доступнее внешним влияниям. И он сделался «молодым двором», одним из самых любопытных примеров экстерриториальности, являемых историей, средоточием всех интриг, открытым подкупу, шедшему извне и, наконец, центром шпионства, находившегося на жалованье у иностранного государя, который воевал с самой дочерью Петра Великого.

Таким образом силою роковых случайностей, соединенных с наследием великого императора и с его исполинским, но плохо задуманным и еще хуже обеспеченным в будущем делом, царствованию, в котором Елизавета дебютировала как искательница приключений, предстояло закончиться еще худшим злоключением: судьбы России вручались государю, враждебному всему русскому.

Попытаюсь теперь осветить образ молодой красавицы-императрицы.

Глава третья Женщина и императрица

I. Нравственный облик

Сознаю всю трудность задачи, которую я себе поставил. Воссоздать психологически, на расстоянии одного или двух веков, облик Петра Великого или Екатерины II является уже трудным, чуть ли не смелым предприятием. Но у нас в данном случае есть по крайней мере источники, которыми мы можем пользоваться. И Петр и Екатерина оставили красноречивые и достоверные свидетельства, по которым мы можем судить не только об их внешнем виде и деятельности, но и об их внутренней сущности. Они иногда изливали свою душу в писаниях, не предназначавшихся гласности. Они выдавали тайну своей души во множестве недуманных слов и непосредственных телодвижений, а внимательные взоры и чуткий слух запоминали их и потом передали их нам.

А Елизавета?

Она не оставила мемуаров. Ее переписка? Она состоит из нескольких ничтожных записок, где неправильность правописания соперничает с бедностью мысли. Воспоминания ее приближенных? Разумовский не вел дневников и по веской причине: он был неграмотен.

И все-таки мимо Елизаветы нельзя пройти равнодушно. Судьба этой женщины слилась в течение двадцати лет с судьбою ее народа не только в силу простой случайности и не по прихоти распутных солдат. Дочь Петра Великого была популярна. Она сохранила в русских преданиях привлекательный облик и даже на европейском горизонте она пережила период блеска и далекого сияния, хотя необыкновенная наследница, избранная ею, впоследствии и затмила ее.

В мае 1744 г. в Москве появилась знатная иностранка «худая, с прекрасными черными глазами, лет тридцати – тридцати пяти; путешествует в сопровождении управляющего, горничной и лакея. Богатый гардероб». По наведении более подробных справок она оказалась француженкой, госпожой д'Акевилль, рожденной де Монморен, женою советника в Руане и сестрой бригадира королевской армии. Зачем она приехала в Москву? Узнав про переворот, возведший Елизавету на престол, «она прониклась благоговением и любовью к ней», как она выразилась в разговоре с Шетарди. Она писала Черкасскому, Воронцову, самой Елизавете; и, не получив ответа, она разместила своих детей по учебным заведениям, написала прощальное письмо мужу и пустилась в путь. Она хотела только увидеть государыню. «От этого зависело счастье ее жизни». Это удовлетворение было ей доставлено. Обедая у Воронцова, она была представлена Елизавете, соблаговолившей «как бы случайно» оказаться у своего друга. Она вернулась домой довольная и счастливая, но муж ее д'Акевилль не разделял ее радости, поверив, в своей досаде, каким-то рассказням «относительно дорожного конюха», ходившим насчет любопытной красавицы; он стал даже приставать к самому Аржансу, довольно дерзко поручившему своему секретарю выпроводить «этого жалкого рогоносца». Конец этой истории мне неизвестен; но не рискует ли эпоха, когда она произошла, остаться недостаточно освещенной в наших глазах, если северная царица, внушавшая столь сильное любопытство, сохранит перед историками свой образ полувосточной императрицы, скрытой, как идол, в таинственной атмосфере терема?

Елизавета родилась 19 декабря 1709 г., ей шел тридцать второй год при восшествии ее на престол. Я изложил выше то немногое, что известно о ее молодых годах, и отдал должное ее красоте. Она была воспитана по новой системе, созданной преобразованиями Петра Великого. В селе Измайлове, где цесаревна жила в соседстве со своими двоюродными сест-

рами, Екатериной и Анной Иоанновными, обе России стояли друг против друга. Семейный кодекс попа Сильвестра, Домострой, оставался во всей своей силе в доме царицы Прасковьи, строгой и набожной вдовы царя Иоанна. Здесь читали лишь св. Писание. На другом конце села, у Елизаветы, жила гувернантка французенка, m-me Латур, называвшая себя также графиней де-Лоней и, по возвращении во Францию около 1750 г., поселившаяся в Вилльжюифе, где она слыла за законную подругу кавалера де-Марвиля. Она, пожалуй, не всегда подавала своей питомице самые лучшие и назидательные примеры поведения. В дополнение к ней были еще многие учителя, и среди них опять-таки француз Рамбур. К сожалению, им приходилось бороться с непобедимой ленью Елизаветы. Физически похожая на отца, дочь Петра Великого умом ближе подходила к матери, некультурной лифляндской крестьянке. Читать ей было скучно, а писать чистое мучение.

К тому же новое воспитание на европейский лад не требовало больших знаний. Будучи очень поверхностным, оно ограничивалось изучением языков. Елизавета хорошо говорила по-французски, недурно по-немецки и, запомнив еще несколько слов по-итальянски и на латинском языке, входившем тогда в моду, слыла очень образованной. В то время все изучавшие французскую литературу непременно писали стихи; писала их и Елизавета, и до нас дошло несколько образчиков ее музыки, – между прочим элегия на отъезд в Сибирь друга, впоследствии некстати оттуда вернувшегося. Это стихи императорские. Но вместе с тем она умерла, убежденная в том, что можно доехать до Англии, не переезжая моря. Если прибавить ко всему этому основательное знакомство с французскими модами – с этой стороны она была безупречна, – она могла бы сойти за образованную женщину и не в одной России, сохраняя, однако, при этом и специфические русские черты. Хотя она и ценила беседы с маркизом Шетарди, наслаждаясь в них тонкостью французского ума, она все же предпочитала им болтовню старых сплетниц, окружавших ее, и более любила шутки своего истопника, чем мадригалы молодого дипломата. Была ли она умна? Да, до известной степени. «Хотя у нее так называемый женский ум, но его у нее много», – писал в 1747 г. д'Аллион, свидетельство которого нельзя заподозрить в пристрастии ввиду того, что она его терпеть не могла, и он платил ей тем же. Она была остроумна, весела, изящна. Державин сравнил ее со «спокойной весной». Спокойная, пожалуй, эпитет неподходящий. Она охотно уезжала с бала к заутрене, бросала охоту для богомолья; но во время этих богомолий говение не мешало ей предаваться мирским и весьма суетным развлечениям. Она умела превращать эти благочестивые путешествия в увеселительные поездки. Употребляю здесь самое мягкое выражение. До самого конца, до последнего часа своей жизни удовольствия являлись ее главной заботой, и, отыскивая их везде и всюду, она жила в вихре наслаждений.

В 1760 г. на расспросы Шуазеля о здоровье императрицы один из преемников Шетарди, маркиз Бретейль, отвечал: «Нельзя лучше чувствовать себя и соединять в ее возрасте более свежий вид с жизнью, созданной для того, чтобы его лишиться; обыкновенно она ужинает в два-три часа ночи и ложится спать в семь часов утра». Эта свежесть была в действительности в то время уже весьма призрачной иллюзией, создаваемой упорным трудом. «Четырех, пяти часов времени и всего русского искусства, – добавлял маркиз, – едва достаточно ежедневно для того, чтобы придать ее лицу желаемую обольстительность».

Всем известно место, которое занимали в данную эпоху наряды в жизни женщин на Западе, и общественная и даже политическая роль уборной в истории восемнадцатого столетия, долгие часы, проводимые красавицами за туалетным столом, в обществе горничных, парикмахеров, портных, ранних посетителей и неизбежного аббата. Всяким модам свойственно подвергаться преувеличению, переступая через границы. У Елизаветы страсть к нарядам и к уходу за своей красотой граничила с безумием. Долгое время вынужденная стеснять себя в этом отношении по экономическим соображениям, она со дня восшествия своего на престол не надела двух раз того же платья. Танцую до упаду и подвергаясь силь-

ной испарине, вследствие преждевременной полноты, она иногда три раза меняла платье во время одного бала. В 1753 г., при пожаре одного из ее московских дворцов, сгорело четыре тысячи платьев; однако после ее смерти осталось их еще пятнадцать тысяч в ее гардеробах и два сундука, наполненных шелковыми чулками, тысячами пар туфель и более чем сотней кусков французских материй. Она поджидала прибытие французских кораблей в С.-Петербургский порт и приказывала немедленно покупать новинки, привозимые ими, прежде, чем другие их увидели. Английский посланник лорд Гиндфорд сам хлопотал о доставке императрице ценных тканей. Она любила белые и светлые материи, с затканными золотыми или серебряными цветами. Бехтеев, посланный в 1760 г. в Париж для возобновления дипломатических сношений между обоими дворами, вместе с тем добросовестно тратил свое время на выбор шелковых чулок нового образца и на переговоры о приглашении для Разумовских знаменитого артиста поваренного искусства Баридо.

Гардероб императрицы вмещал и собрание мужских костюмов. Она унаследовала от отца любовь к переодеваниям. Через три месяца после своего прибытия в Москву на коронацию она успела, по свидетельству Ботта, надеть костюмы всех стран в мире. Впоследствии при дворе два раза в неделю происходили маскарады, и Елизавета появлялась на них переодетой в мужские костюмы – то французским мушкетером, то казацким гетманом, то голландским матросом. У нее были красивые ноги, по крайней мере ее в том уверяли. Полагая, что мужской костюм невыгоден ее соперницам по красоте, она затеяла маскированные балы, где все дамы должны были быть во фраках французского покроя, а мужчины в юбках с панье.

Любовь к театру, приписываемая ей, по-видимому, тоже коренилась в ее господствующей страсти. Она любила наряжать других. В пьесах, разыгрываемых при дворе воспитанниками кадетских корпусов, женские роли раздавались молодым людям, и Елизавета придумывала для них костюмы. Так, в 1750 г. она собственными руками одела кадета Свистунова, игравшего роль Оснельды в трагедии Сумарокова, а немного позднее появление Бекетова в роли фаворита объяснялось подобного же рода знакомством.

Императрица строго следила за тем, чтобы никто не смел носить платьев и прически нового фасона, пока она их не оставляла; но, ввиду того, что она меняла их ежедневно, а иногда и ежечасно, придворные дамы не слишком отставали от моды. Однажды Лопухина, славившаяся своей красотой и потому возбуждавшая ревность государыни, вздумала, по легкомыслию или в виде бравады, явиться с розой в волосах, тогда как государыня имела такую же розу в прическе. В разгар бала Елизавета заставила виновную стать на колени, велела подать ножницы, срезала преступную розу вместе с прядью волос, к которой она была прикреплена, и, закатив виновнице две добрые пощечины, продолжала танцевать. Когда ей сказали, что несчастная Лопухина лишилась чувств, она пожала плечами:

– Ништо ей дуре!

С того дня Лопухина была намечена Елизаветой для руки палача, которой и не избежала. Анна Васильевна Салтыкова, несмотря на то, что отец ее принимал деятельное участие в перевороте 1741 г., подверглась такому же публичному наказанию на балу за прическу *a la coque*.

Не надо здесь вдаваться в сравнения с соседками и современницами Елизаветы, с кроткой Марией Лещинской и даже с властной Марией-Терезией. Отцом Елизаветы не был добрый король Станислав, и Россия восемнадцатого столетия не была Францией или Австрией. В отношении нравственного воспитания и чувств и инстинктов, вытекающих из него, Россия, несмотря на преобразования, отстала на сто лет от Западной Европы. Но поступки Елизаветы вроде только что приведенного мной доказывают, однако, что предание, снисходительное к своим любимцам, польстило дочери Петра Великого, приписывая ей доброту и кротость, совершенно чуждые окружавшей ее среде. Елизавете были свойственны некоторые благородные порывы, и она иногда сочувствовала великим гуманитарным течениям ее

века. В 1755 г., получив известие о землетрясении в Лиссабоне, она хотела было выстроить за свой счет целый квартал города, и ее с трудом убедили в том, что состояние ее финансов того не позволяет. Она отказалась подписать проект уголовного уложения, где законодатели ввели слишком варварские наказания. «Это кровью написано», – сказала она. Анне Иоанновне чужды были подобные порывы. Но в 1743 г. Ушаков и члены комиссии, производившей следствие по делу Ботта, тщетно обращали внимания императрицы на болезнь одной обвиняемой, Софии Лилиенфельд; они не знали, подвергать ли ее пытке, тем более, что она была виновна лишь в том, что не донесла о неодобренных отзывах, смысла которых, может быть, и не поняла. Несчастливая женщина была беременна. «Коли она государево здорье пренебрегала, то плутоф и наипаче жалеть не для чего, лучше чтоб и век их не слышать, нежели еще от них плодоф ждать», – ответила Елизавета. По поводу того же дела, служившего, однако, интересам его повелителя, Мардефельд с негодованием сообщает следующие подробности, достоверность которых подтверждается кровавой развязкой драмы:

«Офицеры, караулившие арестантов в крепости, рассказывали мне, что их подвергли невероятным мучениям. Ходят даже слухи, что Бестужева умерла под кнутом. Императрица часто присутствует инкогнито на допросах, когда обвиняемых не пытаются. Завтра она поедет на Царскую мызу и предполагают, что в ее отсутствие их казнят».

Действительно, казнь последовала вскоре по отъезде императрицы, и она была ужасна, как мы увидим ниже.

В проявлениях милосердия императрицы, как я уже указывал выше, всегда была доля бессознательного, может быть, лицемерия, и вместе с набожностью большая доля отвращения изящной женщины к кровавым зрелищам и тяжелым впечатлениям, т. е. чувства, характерные для французской женщины того времени. Во время Семилетней войны от императрицы скрывали число мертвых, которыми ее полководцы усеивали поля сражения, и она не позволила ни одному раненому являться ей на глаза. То была, действительно, чувствительность по версальскому образцу.

Елизавета, вместе со своими приближенными, подчинялась эволюции, медленно поднимавшей Россию до умственного и нравственного уровня Европы. Но вместе с тем она оставалась дочерью Петра Великого, гневной, капризной и энергичной, несмотря на свою лень, полная чисто физической энергией, не затрагивавшей ее ума. Она воздвигала дворцы в несколько дней, пробегала расстояние между Петербургом и Москвой в 24 часа – платя за каждую павшую лошадь – и била своих горничных. Она также бранилась по примеру Лестока, исчерпывавшего самый грубый словарь немецкого конюха и русского мужика. Екатерина II рассказывает, как в Софьино, в окрестностях Москвы, куда Елизавета поехала на охоту в 1750 г., она стала журить своего управляющего за недостаток зайцев. После того, как управляющий получил от нее нахлобучку, она обрушилась на другие жертвы. Этот человек испортил ей охоту, потому что не смыслит ничего в управлении. Самой ей пришлось научиться вести свои дела, когда императрица Анна Иоанновна оставляла ее в стесненном положении. Таким образом она со скудными средствами жила, как того требовало ее положение. Но она знала цену вещам. И тут ее гневные взоры упали на Екатерину, сопровождавшую ее. «Она постепенно к тому подходила, и слова ее лились потоком». Она «никогда бы не вздумала бы надеть дорогое и нежное платье на охоту». И она сердитым взглядом окидывала лиловое платье, вышитое серебром, в котором та, что его надела, охотно убежала бы вместе с зайцами.

Думая положить конец этой сцене, придворный шут, Аксаков – последний, если не ошибаюсь, при русском дворе, – вздумал показать Елизавете в своей шапке только что пойманного дикобраза. Она пронзительно вскрикнула, увидя в нем сходство с мышью, убежала в свою палатку, где в сердцах обедала одна; а на следующий день (о чем Екате-

рина не упомянула, рассказывая эту сцену) Аксаков был взят в тайную канцелярию, т. е. его пытали за то, что он «напугал ее величество».

Добавьте к этому еще следующую черточку:

«Довольно часто случалось, что, когда ее императорское величество сердилась на кого-нибудь, она не бранила за дело, за которое следовало бы побранить, а брала предлогом что-нибудь такое, за что никто и не мог бы думать, что она могла рассердиться».

Ее умственная лень являлась наследием предков по боковой линии. С этой стороны, по своей набожности, она была племянницей Иоанна V и Прасковьи Салтыковой. Она, правда, возила с собой своих фаворитов к Троице на богомолье, но обставляла это самыми назидательными подробностями. Совершая путешествие пешком, она употребляла недели, а иногда и месяцы на то, чтобы пройти шестьдесят верст, отделяющие знаменитую обитель от Москвы. Случалось, что, утомившись, она не могла дойти пешком за три, четыре версты до остановки, где она приказывала строить дома и где отдыхала по несколько дней. Она доезжала до дома в экипаже, но на следующий день карета отвозила ее к тому месту, где она прервала свое пешее хождение. В 1748 г. богомолье заняло почти все лето.

Императрица не любила рыбы и в постные дни питалась исключительно вареньем и квасом, чем вредила своему здоровью. В марте 1760 г. она внушала серьезные опасения французу-доктору Пуассонье, приходившему в то же время в отчаяние от того, что пост брал верх над его предписаниями у больной княгини Белосельской. «Она предпочитает умереть от грозящего ей отека легких, чем выпить бульону», писал он. Проводя долгие часы в церкви, стоя коленопреклоненной, императрица иногда падала в обморок, как это было в 1757 г., когда думали, что она умерла. В 1752 г. она была в Кронштадте, куда должны были приехать на яхте князь с великой княгиней; поднялась тем временем буря, и она всю ночь провела у окна, держа в руках мощи; когда ей казалось, что барка, которую она принимала за яхту, погружалась в море, она поднимала их кверху. Она заметила во время своих молитв св. Сергию, что ангелы, окружавшие образ святого в одной церкви, слишком походят на купидонов, и тотчас же приказала прокурору св. Синода исправить этот недосмотр.

С другой стороны, относительно Синода и духовенства она проявляла бережливость, заставлявшую ее изменять иногда принципам Петра Великого. Но она в этом вопросе повиновалась и договору о взаимной снисходительности, поддерживаемому сообща ее другом Разумовским и духовником Дубянским. Последний вмешивался в политику и покровительствовал запорожским казакам за частые присылки ему соленой рыбы. В 1743 г. мать фаворита просила о даровании прихода лакею, угодившему ей своей службой, и просьба ее была уважена. Архимандрит, которого крестьяне застали в преступном общении с девушкой, добился жестокого наказания нескромных свидетелей.

Духовенство находило неизменную энергичную поддержку в государыне и деле обращения иноверцев в православие. В современной официальной газете случайные обращения в православную веру отмечались. Так, в 1746 г. в ней было напечатано о возвращении в лоно православия княгини Ирины Долгорукой, перешедшей прежде в католицизм. Ее муж, князь Сергей, обвиненный в том, что не сумел оберечь веру своей жены, искупил свое неосмотрение в монастыре, а m-lle Бере, гувернантка, заподозренная в том, что она приняла катехизис за грамматику, сидела под замком в Св. Синоде до 1751 г.

Не все было, однако, легковесно или неприглядно в проявляемом такими путями рвении; на юго-западной границе империи Елизавета вела серьезную пропаганду и оказала существенные услуги делу колонизации этих областей, близоруко не оцененных Екатериной II.

Обладая внешним обликом модницы и некоторыми чертами, заимствованными у нравственного типа европейской женщины восемнадцатого века, Елизавета имела все же много общего с совершенно противоположным типом современной ей русской женщины, хотя

Петр Великий и предполагал, что окончательно уничтожил ее полувосточный облик. Беспорядочная, причудливая, не имеющая определенного времени ни для сна, ни для еды, ненавидящая всякое серьезное занятие, чрезвычайно фамильярная и вслед за тем гневающаяся за какой-нибудь пустяк, ругающая иногда придворных самыми скверными словами, но, обыкновенно, очень любезная и просто и широко гостеприимная; заходившая иногда по примеру матери на кухню, чтобы приготовить гостям блюдо по своему вкусу; всегда окруженная целым сонмом женских паразитов – рассказчиц сказок, сплетниц или чесальщиц, чесавших ей пятки в часы отдохновения, она оставалась, подобно Анне Иоанновне, помещицей старого режима, хотя и менее грубой и более привлекательной. Элементы ее популярности коренятся именно в этом смешении двух культур и компромиссах, куда, вслед за нею устремилась и вся Россия, находя в них одновременно удовлетворение и своих прежних наклонностей, и новых потребностей, и отдохновение после тяжелых испытаний эпохи преобразований. Двор Петра Великого, поскольку Петр имел его, был лишь продолжением того смиренного дома, куда он засадил свой народ за работу. На его ассамблеях, походивших более на маневры, было скучно. При Анне I все дрожали на них. И вот любезная царица пожелала, чтобы на ее ассамблеях веселились, усвоив себе некоторые тонкости общественного строя, но не отказавшись совершенно от старых привычек. То был взрыв радости и благодарности. Царствование Елизаветы считали праздничным днем, последовавшим за только что пережитыми днями испытания. Все с наслаждением развернулось, и общественная жизнь той эпохи дрогнула от радости, прониклась чуждым ей до поры весельем, лихорадочной деятельностью, горячим пылом в наслаждении жизнью.

Эта приятная и пустая жизнь, созданная Елизаветой и часто поглощавшая ее настолько, что она забывала свои прямые обязанности, составляет часть ее нравственного облика, и поэтому мне предстоит воскресить ее на этих страницах.

II. Двор и внутренняя жизнь

Несмотря на скромные средства и навык к бережливости, которую она любила кичиться, дочь Петра Великого, будучи еще цесаревной, имела уже довольно многочисленный штат: его составляли два фурьера, один камер-юнкер, четыре камердинера, девять фрейлин, четыре гувернантки или «мадамы» – из них одна была приставлена к фрейлинам, два человека для варки кофе, девять музыкантов, двенадцать песенников или бандуристов и целый сонм лакеев. Многочисленность челяди была главной роскошью в ту эпоху не только в России, но и на Западе. Документ, относящийся к первым годам царствования Анны Иоанновны и перечисляющий, сколько вина, водки и пива отпускалось придворному штату Елизаветы, выясняет нам несколько любопытных подробностей. Алексей Разумовский, хотя он и не стоял на одном уровне с хором музыкантов, к которому номинально принадлежал, получал лишь водку и пиво. Он состоит в ранге камердинера. Один из его соперников, красавец Лялин, числится среди фурьеров. Шубин – среди пажей. Сивере, впоследствии ставший гофмаршалом, приставлен к варке кофе. В этом списке еще не значился будущий фаворит, Иван Иванович Шувалов. Он только что еще родился (1727 г.), но во главе списка стоит его двоюродный брат Александр. Он камер-юнкер, и ему полагается порция вина.

Став императрицей, Елизавета дополнила свой штат пятью или шестью камер-юнкерами и восемью камергерами; обер-церемониймейстером у нее был Франсуа Санти, пьемонтец, выдавший виды. Замешанный в Париже в заговоре Селламара, он нашел убежище при маленьком гессен-гомбургском дворе и последовал в Россию за одним из принцев этого дома, которого Петр Великий прочил себе в зятя. Сперва он был назначен церемониймейстером при дворе Екатерины I, затем, согласно превратностям всех блестящих судеб того

времени, ему пришлось отправиться в Якутск с кандалами на руках и на ногах. При Анне Иоанновне ему разрешено было поселиться в Иркутске, в шести тысячах верст от Петербурга вместо девяти тысяч; не успел он жениться здесь на дочери одного чиновника, как указом Бирона был перевезен в село Устьвилейск, за Якутском. Он провел в нем несколько лет, в нетопленной избе, на цепи и питаясь мукой, разведенной в воде. Странно, что Елизавета избрала именно его запевалой в веселом хороводе, затеянном ею. Впрочем, ей, пожалуй, трудно было бы найти человека, на жизнь которого близкое прошлое не наложило своей железной длани и кровавой тени.

Прошлое, полное мучений и ужаса, могу ли я забыть о нем на этих страницах, когда с каждым новым лицом оно встает передо мной, мрачное и отвратительное?

«Ассамблеи», введенные Петром I, были оставлены ближайшими его преемниками. Елизавета воскресила этот обычай наряду с другими, но от прежних собраний, где московский аскетизм, германская тяжеловесность и грубые и страшные шутки хозяина создавали невыносимо тягостную атмосферу, осталось одно их название. Теперь же законом стали французские образцы и французская грация. «Без них (французов), – писал впоследствии журнал „Кошелек“ (1774), – не знали бы мы, что такое танцевание, как войти, поклониться, напрыскаться духами, взять шляпу и одною ею изъяслять страсти и показывать состояние души и сердца нашего... Что ж бы мы сошедшим в женское собрание говорить стали. Разве о курах да цыплятах разговаривать бы стали?.. Без французов разве мы могли бы назваться людьми». После государственного переворота совершилась еще и другая революция; как сущность, так и форму ее создали торговцы модных товаров, «мамамы» и учителя танцев, и западная цивилизация, поскольку Елизавета и ее современники были способны ее понять, не выходя из рамок, созданных этими цивилизаторами. Зато рамки эти были чрезвычайно блестящими.

Петр дал нам науку,
Его дочь привила нам вкус...

– пел один современный поэт. В особенности вкус к развлечениям и, надо прибавить во имя справедливости, к некоторым утонченным удовольствиям. Зимой 1745–1746 г., несмотря на тревожные заботы, создаваемые внутренней и внешней политикой, особы первых двух классов обязаны были давать поочередно маскированные балы. Собирались в шесть часов. Танцевали и играли в карты до десяти, когда императрица с великим князем, великой княгиней и несколькими привилегированными лицами садилась ужинать. Остальные приглашенные ужинали стоя. Затем танцы возобновлялись до часу или двух ночи. Этикета никакого не было. Хозяева не принимали и не провожали никого, даже императрицу. Когда она входила в гостиную, сидящим запрещено было вставать. Часто Елизавета без церемоний называлась на ужин к тому или другому из своих приближенных или к одному из послов. Нередко она появлялась неожиданно среди бала. Екатерина II, в знаменитых вечерах в Эрмитаже, лишь следовала этому примеру, где сказывалось желание извлечь двор и общество из византийской трясины, в которой они еще погрязли и чахли.

В одном смысле, по крайней мере, успехи в этом направлении были быстрые. Балетмейстер француз Ланде вскоре объявил, что нигде не танцуют менуэт так выразительно и благопристойно, как в Петербурге. Все виды изящества и роскоши быстро развились при дворе Елизаветы. Она навсегда изгнала из своего дворца грубые оргии, прельщавшие ее отца. Она пожелала иметь хороший стол. Главный повар Фукс получил чин бригадира и жалованье в восемьсот рублей, что казалось огромной суммой в то время ввиду того, что до тех пор главные повара относились к разряду низшей челяди. Он был первым в длинной цепи поваров, которыми России пришлось вскоре гордиться. При дворе вели также

очень крупную игру, и маркиз Лопиталь, французский посол, жаловался на расходы, вызываемые обязательными ежемесячными «кадрилями». Первый вечер стоил ему сто двадцать дукатов, несмотря на то, что он играл не слишком несчастливо.

На время своего коронования Елизавета выстроила в Москве оперный театр, вмещавший пять тысяч зрителей. В день его открытия давали «Гита» знаменитого Гассе, с музыкальным прологом Доминика Даллолио, композитора и дирижера, обосновавшегося в России. Его представления, где рядом с итальянскими певцами выступали молодые придворные, обученные в Сухаревой башне, местной консерватории, чередовались с интермедиями и аллегорическими балетами, где Ланде изощрял свой ум: «Золотое яблоко на пиру богов»; «Радость русского народа при появлении его Астреи». Этот вид представлений пользовался таким успехом, что Академия Наук учредила особую кафедру аллегории, а русский народ – та часть его, по крайней мере, что посещала театр, действительно, склонна была думать, что в ноябрьскую ночь 1741 г. на ее горизонте заблестала Астрея.

В камер-фурьерском журнале за 1743 г., в № от 5 сентября, отмечен большой праздник в Летнем дворце. На следующий день происходит комедия и большая иллюминация сада. 15-го – опять-таки большой праздник по случаю заключения мира со Швецией. 7 октября – обед, ужин и всевозможные развлечения на даче гофмаршала Д. А. Шепелева. 8–10-го большая охота в Царском Селе. 11-го – праздник в новом дворце, воздвигнутом между Царским и Петербургом. И так с начала до конца года.

Астрее, однако, не мало было дела, чтобы даже в этом, сравнительно ограниченном, кругу приучить окружавших ее лиц к новым повадкам и, наряду с более утонченными нравами, вызвать к жизни и более разнообразные и привлекательные формы общественной жизни. В настоящих своих записках (не принадлежавших Галиарде и еще не изданных) д'Эон изобразил русский двор в 1759 г. в далеко не привлекательных красках. Много роскоши, но мало вкуса и еще менее изящества. Действительно, величественные манеры присущи лишь «семи, десяти лицам». Женщины, в большинстве случаев хорошо одетые и увешанные бриллиантами, имеют, однако, в своих костюмах что-то режущее для французского глаза. В них можно любоваться лишь нарядами и красотой, если они таковой обладают. В огромной зале «более короткой, чем Версальская галерея, но гораздо более широкой, обшитой деревом, выкрашенной в зеленый цвет, прекрасно позолоченной, украшенной великолепными зеркалами и ярко освещенной множеством люстр и жирандолей», среди потока золота, серебра и света, они выстраиваются, как в церкви, все с одной стороны, а кавалеры с другой. Они обмениваются глубокими реверансами и не разговаривают даже между собой. Это идола. Приемы состоят в слушании прекрасной музыки, где артисты, пользующиеся известностью в Париже, – Сакристини, Салетти, Компасси, показывают свои таланты; но частое и всегда однообразное повторение этого удовольствия скоро приедается. Нет умения разнообразить развлечение и никакого понятия о главной прелести общественных собраний. Вне императорского дворца мало людей, имеющих дома, куда доступ «был бы свободен и легок и свидетельствовал о близком общении и дружбе. Все почти всегда основано на церемонии».

Выше был описан летний дворец; зимний еще строился. Среди обитательниц дворца д'Эон открыл более привлекательную группу женщин: «среди замужних дам выделяется блестящая группа молодых девушек из самых знатных семей, похожих на нимф и весьма достойных взора и внимания иностранцев». Их зовут фрейлинами. Состоя при особе императрицы, они живут все вместе в большом здании, примыкающем ко двору. Но и с ними любопытство далеко не может зайти.

Впечатления маркиза Лопиталья довольно близко совпадают с этим описанием. Сообщая Шуазелю о различных неприятностях, сопровождавших его пребывание при северном дворе, он пишет: «Не говорю уже о скуке, она невообразима». Что же касается графа

Цинцендорфа, посланника Марии-Терезии, то он, по-видимому, вынес о большой зале летнего дворца лишь одно довольно неприятное воспоминание. Полюбопытствовав узнать, по желанию Кауница, как отоплялось это помещение, он убедился, проникнув в него в мае месяце, что здесь «царил страшный холод». Ему сказали, однако, что «когда собирается много народа и при большом освещении, то в зале тепло».

О Царском Селе сохранилось описание Дугласа, предшественника маркиза Лопиталья. Его показания полны похвал, но с точки зрения чисто материальной. В подгородной резиденции Елизаветы сосредоточилась самая утонченная роскошь. Подъемные машины, поднимавшие гостей до второго этажа в мягких объятиях двух стеганых диванов, обеда, подаваемые на волшебном столе, на котором, при отсутствии всякой прислуги, мгновенно появлялись все требуемые предметы; самодвижущиеся лодки и экипажи... Не подсказывают ли эти чудеса мысль, что мы, может быть, слишком ценим некоторые успехи в той же области, которыми кичится наша эпоха? Подъемные машины и автомобили того давнего времени двигались, правда, лишь с помощью пружин, но, может быть, они не давили столько народу.

Несмотря на чарующую декорацию, развертывавшуюся перед иностранцами, двор Елизаветы, даже с той точки зрения, был довольно далек от западных образцов, которым силился подражать. Цинцендорф, приглашенный как-то в Царское, не спешил вернуться туда после первого посещения, вследствие вида и запаха трупов околелых лошадей, окаймлявших дорогу. Со своей позолотой и необычным устройством столовых, как петербургские, так и загородные дворцы слегка напоминали палатки Золотой Орды. В них не жили, а скорей стояли на биваках. В 1752 г., отправившись в Москву, Елизавета вздумала поселиться в Кремле, что вызвало страшное волнение и замешательство! Подъезды старинного императорского дворца давно уже служили складочным местом для нечистот. Горы их заградили дорогу фурьерам ее величества. Приказано было произвести чистку «не через переписку». Но в самих апартаментах, как оказалось, жить было невозможно. Русские зодчие Ухтомский и Евлашев объявили, что дворец надо перестроить сверху донизу, и итальянский архитектор Растрелли с ними согласился. Тогда Елизавета отправилась в Головинский дворец, к которому наскоро пристроили деревянный флигель для великого князя и великой княгини. Читатели «Романа Императрицы» знают, как Екатерина оценила это помещение. Елизавете же так понравились ее апартаменты, что она выразила желание провести в них и зиму. Но в начале зимы дворец и все его службы – раскинувшиеся на три версты – сгорели в каких-нибудь три часа времени. Императрице пришлось укрыться в своем доме на Покровке, а молодой двор приютился в Немецкой слободе в деревянном доме, куда свободно проникали ветры всех четырех стран света и где стоял гарнизон тараканов и самых зловредных клопов. Но сгоревший дворец уже отстраивался вновь. Пятьсот плотников работали над ним. Нанимая их за высшую плату – от двадцати пяти до тридцати копеек в день, – их заверили, что она будет им уплачивать тоже «не через переписку» каждую неделю, и 10 декабря 1753 г. Елизавета переехала в новый дворец. Прежний сгорел 1 ноября, менее чем за шесть недель, а новый дворец вмещал не менее шестидесяти комнат и гостиных! В нем поместилась, однако, лишь часть мебели императрицы. Остальная мебель, вместе с золотыми и серебряными сервизами и императорской шкатулкой, оставалась в Лефортовском дворце под охраной лейб-кампанцев, квартировавших в нем: их было всего около трех тысяч человек, считая женщин и лакеев. В феврале 1754 г. все они оказались без крова: Лефортовский дворец сгорел в свою очередь.

Мне пришлось уже отметить кочевой характер домашней обстановки того времени, вызванный отчасти периодическим возвратом подобных бедствий. Несколько времени спустя Кирилл Разумовский, брат фаворита, получил в собственность огромный дом в Киеве, состоявший из семи корпусов, выстроенных из толстых дубовых бревен. В 1754 г. был установлен налог на жилые недвижимости, и сборщик налогов постучался и в дверь этого дома.

Разумовский пришел в ярость и велел немедленно же разобрать дом и перенести его в свое имение за несколько сот верст. И это было исполнено в двадцать четыре часа.

Но сами путешествия Елизаветы походили на бедствия. Когда она переезжала из С.-Петербурга в Москву, то это перемещение производило переполох в обоих городах. Девять десятых петербургских жителей уезжало в Москву. Сенат, Синод, иностранная, военная коллегии, казначейство, придворная канцелярия, почта, все службы дворца и конюшен должны были следовать за государыней: восемьдесят тысяч человек и девятнадцать тысяч лошадей. Одна карета императрицы требовала множества лошадей. Елизавета любила путешествовать быстро. Лошадей, предназначенных для ее экипажа, подвергали особой тренировке; в ее линейку или возок, снабженный особым приспособлением для топки, впрягали двенадцать лошадей, и мчались в карьер. Если одна лошадь падала, ее немедленно заменяли другой; за экипажем скакала полная смена запряжки. Таким образом пробегали по несколько сот верст в сутки. В 1744 г., во время путешествия императрицы в Киев, думали широко поставить дело, завербовав четыре тысячи лошадей. Разумовский воскликнул: «Да их надо в пять раз больше!». Брат фаворита, отправляясь в Украину, чтобы вступить в управление гетманством, требовал двести почтовых экипажей на каждой станции.

Ничто так легко не усваивается, как роскошь. Но виды ее разнообразны, и придворные Елизаветы не умели еще выбирать лучшие из них. В 1747 г. Гиндфорд с пренебрежением отзывался о стране, «где здравый смысл, если таковой и имеется, заключается в обжорстве, питье и экипажах». И каком обжорстве! Д'Эон включал гетмана Разумовского в число тех четырех лиц, у которых ему удалось встретить действительно приятное гостеприимство. Однако секретарь саксонской миссии Функ, пообедав у Разумовского два дня подряд, — и надо сказать, что обеды готовил не Фукс, — жаловался на расстроенное здоровье и уверял, что заслужил спасение души, «глотаю приправы из прогорклого масла» и другие «невообразимые гадости».

Даже в этой области физических наслаждений и светского общения, наиболее доступной влиянию западной цивилизации, эта последняя наталкивалась на всевозможные препятствия. В своих описаниях современного ему русского общества ни д'Эон, ни кто бы то ни было из проникнувших в русское общество иностранцев не упомянул о женщине, походившей хоть издали на жену маршала Люксембургского, или о гостинице, напоминавшей салон принцессы Тальмон или госпожи дю-Деффан. А ужины, на которые Елизавета приглашала близких ей людей, походили на ужины президента Эно лишь хорошей едой. В Петербурге, в Москве воспоминание о безобразных попойках и грубом шутовстве Петра Великого было еще слишком свежо и оставило в атмосфере столь сильный отзвук варварского распутства, что упорство некоторых черт местных нравов было вполне естественно. Полюбовавшись точностью исполнения и «благопристойностью» менуэтов, которыми дирижировал Ланде, серьезный Гиндфорд чуть не подскочил при виде генерал-прокурора, плясавшего «словно Hans Wurst» во главе процессии.

Надо отдать справедливость личному влиянию Елизаветы в данной области тем более, что, не отказываясь от некоторых привычек, более или менее оскорбительных для хорошего вкуса и даже нравственности, она вместе с тем поддерживала в обществе другие обычаи, ничуть не заслуживавшие пренебрежения, ценные и привлекательные и соответствовавшие серьезным качествам, т. е. национальным добродетелям ее народа, в силу чего их постепенное исчезновение при нивелировке современной жизни вызывает скорее сожаление, чем похвалу. Дочь Петра Великого могла приобрести и ошибочные понятия в вопросах хорошего тона и манер. Чтобы ей понравиться, ла Шетарди, обладавший инстинктами мистификатора, вздумал въехать во двор императорского дворца в экипаже, запряженном шестеркой лошадей, и несколько раз объехать кругом. При третьем или четвертом круге Елизавета, открыв форточку, с милостивой улыбкой помахала дипломату рукой. Не выходя

из экипажа, он начал глубоко раскланиваться, а она сияла: «Как они любезны, эти французы! Вот настоящая французская галантность». В автобиографической заметке, где племянник уже известного нам Воронцова сообщает о первых своих шагах при дворе, мы читаем:

«Она (императрица) позволяла нам, детям, появляться при дворе на куртагах, давала балы во внутренних покоях для детей обоего пола своих придворных. Помню один из этих балов, где было от шестидесяти до восьмидесяти детей. Мы ужинали все вместе; а сопровождавшие нас гувернеры и гувернантки ужинали за отдельным столом. Императрица долго смотрела на наши танцы и сама ужинала с матерями и отцами».

Добрая Мария Лещинская, может быть, и рада была бы последовать ее примеру, но наличие Версаля было бы этим оскорблено, что, пожалуй, и не совсем лестно для традиций Короля-Солнца.

Должен, однако, сказать, что Елизавета черпала лучшую долю своего личного удовольствия не при дворе, в собственном смысле слова, не среди этих чистых радостей, создаваемых ею для детей, и не в официальных приемах, навевавших гнетущую скуку на маркиза Лопиталья, не в этой патриархальной или искусственно натянутой среде. Она появлялась лишь на короткое время в Летнем дворце, и даже Царское Село редко видело ее. Она предпочитала дачи Разумовского: Горенки, под Москвой, и в окрестностях Петербурга, Мурзинку, Славянку, Приморский двор и главным образом Гостилицы, бывшую резиденцию Миниха. В Гостилицах она жила даже зимой, заслушиваясь по вечерам то тонкими мелодиями итальянских певцов, то хорovým пением деревенских женщин. В Гостилицах же или в ее бывшей резиденции, Цесаревин-ом дворе, принадлежавшей уже Разумовскому, и позднее в Аничковом дворце, выстроенном для фаворита, в день его именин, 17 марта, танцевали до упаду, несмотря на пост и набожность четы. К концу царствования настал черед Ивана Шувалова, и в 1754 г., по случаю рождения великого князя Павла, императрица присутствовала у своего друга на маскарадном балу, продолжавшемся сорок восемь часов.

Любила она всегда и свежий воздух, ширь и в особенности движение. Она напоминала Петра Великого своей чрезвычайной подвижностью, с той лишь разницей, что ее поездки имели иную цель. Так, 4 мая она находится в Петергофе, 7 мая – в Кронштадте, 8-го в Царском, обедает затем на пути, 11-го возвращается в Петербург; 23-го она снова в Петергофе, а 29-го уже уезжает в Стрельну. Между двумя прогулками верхом и двумя охотами она собирала своих фрейлин и девушек на лужайке парка и водила с песнями хоровод; в Александрове она каталась на лодках на прудах, где Иван Грозный топил свои жертвы. Утомившись, она приказывала расстилать в тени ковер, покрытый шальями, и ложилась спать под охраной фрейлины, веером отмахивавшей от нее мух, тогда как остальные должны были хранить благоговейное молчание – не то приключилась бы беда! Туфля ее величества, брошенная сильной рукой, ударяла виновную по щеке. Она, впрочем, выгодно заменяла железный костыль Иоанна Грозного или знаменитую дубинку, которую Петр Великий пускал в ход в подобных случаях.

Зимой государыня наслаждалась другими национальными увеселениями: посиделками, подблюдными песнями, святочными играми; на масленице она съедала по две дюжины блинов и приводила в отчаяние Фукса своим откровенным пристрастием к щам, буженине, кулебяке и гречневой каше. Заставив ее полюбить малороссийскую кухню, жирную и сытную, Разумовский нанес, увы, ущерб красоте своей подруги. Елизавета расплылась. На годовом обеде лейб-кампанцев она появлялась в мундире капитана и подавала сигнал к возлияниям, выпивая рюмку водки. Но нигде не нашел я следов приписываемых ей нетрезвых привычек. Наоборот, в этом отношении свидетельства современников, включая в них и самые недоброжелательные, с Мардефельдом во главе, являются все без исключения отрицательными. «Она ни в чем себе не отказывает, как и мать ее Екатерина, – пишет в 1742 г. посланник Фридриха, – только Вакх не принимает в том никакого участия». Маркиз Лопи-

таль пишет в 1758 г.: «Она ест мало и любит лишь здоровую пищу; она пьет обыкновенно легкое пиво и венгерское вино; во всем она умеренна». Недоброжелательность воспользовалась здесь привычкой, появившейся у Елизаветы весьма незадолго до кончины государыни, среди истерических припадков, которыми она в то время страдала.

От подобных излишеств испортился цвет ее лица, а она дорожила им больше, чем тонкостью талии. Как и на всем Востоке, дородность не считалась в России недостатком. Красота и здоровье Елизаветы пострадали в особенности от постоянных бессонных ночей. Она редко ложилась спать до рассвета и, даже лежа в постели, старалась отгонять от себя сон, и делала она это не только ради своего удовольствия или удобства. Она знала, какие неожиданности готовила иногда властителям ночь, проведенная во сне. И в те часы, когда Бирон и Анна Леопольдовна пережили свое ужасное пробуждение, Елизавета, окруженная в своем алькове полудюжиной женщин, разговаривавших вполголоса и тихо чесавших ей пятки, превращалась в восточную императрицу из тысячи и одной ночи и оставалась в полном сознании и начеку до самого рассвета.

Эти чесальщицы составляли целый штат, и многие женщины стремились к нему принадлежать; при этих ночных беседах нередко удавалось шепнуть в державное ухо словцо, даром не пропадавшее, и тем оказывать щедро оплачиваемые услуги. Так, в конце царствования среди чесальщиц числилась родная сестра фаворита, Елизавета Ивановна Шувалова. И влияние ее было настолько сильно, что один современник называет ее «настоящим министром иностранных дел». В 1760 г. маркиз Лопиталь обеспокоился ролью, которая стала играть другая чесальщица, по слухам любившая деньги и принимавшая их от Кейта, английского посланника; это была сама Воронцова, жена великого канцлера. Дипломатическому корпусу приходилось поочередно опасаться враждебности или добиваться доброжелательности жены Петра Шувалова, Мавры Егоровны, рожденной Шепелевой, женщины «с тонким и злобным умом», как характеризует ее Мардефельд, или считаться «с корыстными наклонностями» Марии Богдановны Головиной, вдовы адмирала Ивана Михайловича, которую сама Елизавета прозвала за ее злобу Хлоп-бабой.

Но и те и другие встречали среди своих пересудов и интриг строгого контролера в лице бывшего истопника, Василия Ивановича Чулкова, произведенного в камергеры и исполнявшего особо интимные обязанности. Будучи непоколебимо верен Елизавете, он считался присяжным стражем императорского алькова. Каждый вечер он появлялся с матрацем и двумя подушками и проводил ночь на полу у постели Елизаветы. К концу царствования он сделался кавалером ордена св. Александра Невского, генерал-лейтенантом и женился на княжне Мещерской, не оставив, однако, своей должности. Будучи положительно неподкупным, от часто останавливал сплетниц, говоря: «Врете! Это подло!» На рассвете чесальщицы удалялись, уступая место Разумовскому, Шувалову или иному временному избраннику, но Чулков оставался. В двенадцать часов дня Елизавета вставала, и нередко ее сторож еще крепко спал. Она тогда будила его, вытаскивая у него подушки из-под головы или щекоча под мышками, а он, приподнимаясь, фамильярно ласкал плечо государыни, называя ее «своей дорогой белой лебедушкой». Так, по крайней мере, рассказывает предание, за достоверность которого я не ручаюсь.

Однако я приступаю здесь к области интимной жизни, где опыт прошлого заставляет меня подразделить моих читателей на категории. Пусть те из них, чью стыдливость я имел несчастье оскорбить в своих прежних трудах, лучше покинут меня здесь и вновь ко мне вернуться в следующей главе. Считаю долгом, однако, предупредить их, что они рискуют потерять из виду одну из типичных сторон царствования, которое я намереваюсь изучить с ними, и затемнят и остальные подобно тому, как были бы темны и непонятны некоторые и, конечно, не наименее интересные стороны царствования Людовика XV, если бы вздумали изъять из его истории маркизу Помпадур. Да и то ни маркиза Помпадур, ни ее соперницы никогда

не занимали положения, равного тому, что выпадало на долю великих фаворитов XVIII столетия в России. Как я уже пытался разъяснить, фаворитизм в России не был скандалом; это было государственное учреждение, которое в силу своей публичности, последовательности и приобретенного авторитета переставало быть скандальным и поднималось до уровня других элементов, составлявших двор, общество, государство. Когда Елизавета заболела, никому и в голову не приходило, что ей следовало бы, по примеру Людовика XV, расстаться с Разумовским или Шуваловым, дабы приготовиться предстать перед Богом. По этой причине и по другим, которые вытесняются в дальнейшем изложении, биография этих фаворитов не является главой из скандальной хроники – это глава из истории России, и надо ее изучить, хотя бы и пришлось при этом встретиться с Чулковым, подобно тому, как, проникая в интимную жизнь «возлюбленного» короля, наталкиваешься на m-me Госсе. Согласен с тем, что соприкосновение с Чулковым, с его матрацем, подушками и всем остальным раскрывает больше непристойностей, но я ведь в том не виноват. К тому же тот, кого прозвали «ночным императором», т. е. Разумовский, – и о нем главным образом мне и придется говорить на нижеследующих страницах, – не является при ближайшем изучении подобием маркизы Помпадур, а скорее сколком с m-me де Ментенон, с большими, конечно, отступлениями в сходстве. Сен-Сира он не основал, но и в этом я опять-таки не виноват.

III. Интимные нравы. Ночной император

Среди мужчин, которым Елизавета в раннем возрасте отвела большое место и в своей жизни, прежде чем ей удалось уделить им таковое в жизни своего народа, Александр Борисович Бутурлин, по-видимому, был один из первых по времени. Уже в 1727 г. в письме к цесаревне Шувалова передавала поклон Александру Борисовичу. Два года спустя в минуту досады, не чуждой, пожалуй, и ревности, Петр II отправил его в Украину. Преемником его явился обер-гофмейстер императорского двора Семен Кириллович Нарышкин, но и ему не было суждено спокойное пользование своим наследием. Он слыл за жениха, даже за мужа цесаревны. В 1739 г. в европейских дипломатических канцеляриях открыто говорили об этом браке, и эта легенда не заключает в себе ничего невероятного. Семен Кириллович и Елизавета были двоюродными братом и сестрой. Долгое время поговаривали о ее браке с другим Нарышкиным, Александром Львовичем. Семен Кириллович родился в 1710 г., следовательно, годами подходил к цесаревне; он отличался большой красотой и соединял с ней внешний облик утонченного барина, чрезвычайное изящество и княжеское величие. Он был русским Лозеном данной эпохи. К сожалению, и тут вмешался Петр II, и преемнику Бутурлина приказано было путешествовать. Он долго пробыл в Париже, под фамилией Тенкина, и вернулся в Россию лишь в то время, когда среди приближенных Елизаветы сам Шубин оказался излишним. Ему пришлось утешиться должностью обер-егермейстера и тем изумлением, в которое повергла его роскошь чисто парижского пошиба населения Петербурга и Москвы. На свадьбе великого князя от выехал в карете, у которой пролеты между спицами колес были заполнены зеркалами.

Шубин, простой гвардейский солдат, сблизился с Елизаветой вскоре после отъезда этого неудавшегося супруга; выказав при вступлении Анны Иоанновны неосторожную приверженность к правам своей цесаревны, он позволил втянуть себя в более или менее подлинный заговор в ее пользу. После пребывания в каменном мешке, знаменитой тюрьме той эпохи, где нельзя было ни стоять, ни лежать, и многочисленных посещений застенка, он был сослан на Камчатку, а Елизавета стала подумывать о постриге, согласно преданию, требующему подтверждения, и писать жалобные стихи, заслуживающие всецело наше снисхождение.

О том, как цесаревна забыла свое горе и как возникла новая, менее преходящая на этот раз связь, маркиз Шетарди рассказывает нам следующее в 1742 г.:

«Некая Нарышкина, вышедшая с тех пор замуж, женщина, обладающая большими аппетитами и приятельница цесаревны Елизаветы, была поражена лицом Разумовского (это происходило в 1732 г.), случайно попавшегося ей на глаза. Оно, действительно, прекрасно. Он брюнет с черной, очень густой бородой, а черты его, хотя и несколько крупные, отличаются приятностью, свойственной тонкому лицу. Сложение его также характерно. Он высокого роста, широкоплеч, с нервными и сильными оконечностями, и если его облик и хранит еще остатки неуклюжести, свидетельствующей о его происхождении и воспитании, то эта неуклюжесть, может быть, и исчезнет при заботливости, с какою цесаревна его шлифует, заставляя его, невзирая на его тридцать два года, брать уроки танцев; всегда в ее присутствии, у француза, ставящего здесь балеты. Нарышкина, обыкновенно, не оставляла промежутка времени между возникновением желания и его удовлетворением. Она так искусно повела дело, что Разумовский от нее не ускользнул. Изнеможение, в котором она находилась, возвращаясь к себе, встревожило цесаревну Елизавету и возбудило ее любопытство. Нарышкина не скрыла от нее ничего. Тотчас же было принято решение привязать к себе этого жестокосердого человека, недоступного чувству сострадания».

Отмечаю, что эти подробности взяты мною из современного дипломатического памятника; дополняю их данными, заимствованными из таких изданий, как «Русский Архив» и книга Васильчикова.

Разумовский с 1731 г. был певчим императорской капеллы. Федор Степанович Вишневецкий проезжал через Украину на возвратном пути из Венгрии, где он закупал вина для погребца Анны Иоанновны, и, остановившись в селе Лемеша, был поражен мощным басом, колебавшим стены маленького местного храма. Он узнал, что голос этот принадлежал молодому крестьянину, который не прочь был бы петь и в другом месте. Отец его, казак и горький пьяница, часто колотил его и даже как-то чуть не убил, запуская ему топором в голову. Назывался отец Григорием Яковлевичем и носил прозвище Розума, вследствие того, что в пьяном виде говорил о самом себе: «Ей! що то за голова, що то за розум!» Сын его пас общественное стадо и нередко предоставлял его собственной судьбе, чтобы сбегать к дьячку, учившему его читать и петь. Хорошие церковные певчие тогда, как и теперь, ценились в России. Певчие императорской капеллы были почти все малороссы, и недалеко от Лемеша, в Глухове, была даже особая школа на двадцать четыре человека, где обучались эти артисты. Вишневецкий взял с собой молодого пастуха, за что был вознагражден чином генерал-майора и местом при дворе Елизаветы. Цесаревна, выпросив себе певчего, недолго наслаждалась его красивым голосом; Алексей Григорьевич вскоре его потерял. Но она сделала из него бандуриста, и он сумел, очевидно, отличиться в этой новой должности, потому что вскоре она поручила ему управление одним из своих имений, а затем своим двором.

Тем временем старик Розум умер; но Алексей Григорьевич имел в Лемешах еще многочисленную родню: мать Наталию Демьяновну, старшего брата Данилу, умершего в 1741 г.: младшего брата Кирилла, предназначенного судьбой для ослепительной карьеры, и несколько сестер. Он позаботился о них, и Наталия Демьяновна, овдовев, могла на присылаемые им деньги открыть корчму и жить в довольствии. Это занятие не считалось позорным в то время. Хата, где она жила, существовала еще несколько лет тому назад, тщательно оберегаемая ее владельцем, Галаганом, потомком кабатчицы по женской линии.

Алексей Григорьевич не принимал никакого участия в перевороте 1741 г. Политикой он не интересовался. Он управлял двором цесаревны, а впоследствии, во время ее коронации, нес шлейф императорской мантии и исполнял должность обер-шенка. После коронации он быстро повысился в чинах, и Елизавета пожаловала ему, из имений Миниха, поместье Рождественно-Поречье и другие земли. Она пожелала, чтобы родные фаворита разделили

с ним его почести и великолепие, и Наталия Демьяновна была приглашена в Москву. Можно себе представить переполох, поднявшийся в Лемешах, когда у двери скромной Розумихи появился блестящий экипаж. Старушка разложила на полу присланную ей соболью шубу, выпила по стаканчику водки с соседками, чтоб «погладить дорожку, чтоб ровна была», и села в карету с дочерьми. Она не признала сына в блестящем вельможе, вышедшем ей навстречу, и Алексей Григорьевич показал ей, для большей убедительности, знакомую ей отметину на теле.

Разодетая по последней моде, напудренная, причесанная, нарумяненная для своего представления при дворе, она бросилась на колени перед первым попавшимся ей зеркалом: увидев свое отражение в нем, она подумала, что видит самое императрицу. Елизавета встретила ее самым нежным образом. «Благословенно чрево твое», – воскликнула она в порыве чувств. Но, будучи назначена статс-дамой и получив помещение во дворце, Розумиха вернулась к своей крестьянской одежде и заскучала по Лемешам. Портрет ее, воспроизведенный Васильчиковым, рисует нам ее в этом костюме с приятными и кроткими чертами лица. Узнав, что двор переезжает из Москвы в Петербург, она не выдержала и попросила, чтобы ее отослали на родину. Она появилась на берегу Невы лишь в 1756 г. на свадьбе великого князя и на этот раз при торжественной обстановке и с большой свитой.

Но до своего первого возвращения в Лемеша она, по преданию, присутствовала на событии, которое, несмотря на все пережитые ею неожиданности, должно было показаться действительно сказочным в ее глазах. Факт брака Елизаветы с Разумовским, совершенного тайно в конце 1742 г. в церкви подмосковного села Перова, почти с достоверностью установлен историей. Существуют разногласия лишь относительно причины, побудившей дочь Петра Великого к этому шагу. Предполагалось соглашение между Бестужевым и духовником ее величества. Назначенный вице-канцлером ставленник Лестока, находившийся на пути ко всемогуществу, опирался на Разумовского, чтобы уравновесить влияние своего покровителя. Опала фаворита могла нанести ущерб его шансам в предстоявшей ему борьбе. Вскоре после коронации, вследствие приезда в Москву Морица Саксонского, снова возбудился вопрос о претендентах на руку государыни. Выйдя замуж за иностранца, Елизавета выскользнула бы из рук своих прежних друзей и слуг, и русская партия, представителем которой Бестужев считал себя в силу своей враждебности ко всему иностранному, потерпела бы несомненную неудачу. Со своей стороны Дубянский был предан той же идее под влиянием Стефана Яворского и его приверженцев, считавших, что при Анне Иоанновне церковь находилась в опасности вследствие влечения к западу и преобразовательных попыток Феофана Прокоповича. Своим происхождением, простотой ума и теплотой веры сам Разумовский примыкал к этой группе, где малороссы были в большинстве. Поэтому гипотеза об интриге, воспользовавшейся в данном смысле религиозными сомнениями Елизаветы, весьма правдоподобна. С внешней стороны чрезвычайно добродушный, Дубянский был в то же время, по-видимому, тонким царедворцем.

Но положительные доказательства брака отсутствуют.

Достоверен лишь тот факт, что с известного времени, совпадающего, пожалуй, с посещением в обществе императрицы храма в Перове, скромной церкви, которую Елизавета любила украшать, жертвуя в нее ризы и воздуха, вышитые ею самой жемчугом и драгоценными камнями, Разумовский занял положение, не похожее на то, что он занимал до той поры, каким бы выдающимся оно ни было прежде. Поселившись во дворце, в апартаментах, смежных с покоями государыни, он был уже не «ночным императором», а открыто признанным участником всех удовольствий, всех поездок ее величества, со всеми внешними признаками почета, принадлежащими принцу-супругу. Одно путешествие ее величества было отменено по причине легкого нездоровья Алексея Григорьевича в последнюю минуту, когда великий князь и великая княгиня уже сидели в санях. Выходя из театра в сильный мороз, импера-

трица заботливо запахивала шубу Алексея Григорьевича и оправляла его шапку. В Опере итальянские певцы чередовались с малороссийскими, так как их таланты больше нравились фавориту. Малороссийские блюда входили в меню даже официальных обедов, и Разумовский сидел за столом всегда рядом с государыней. Эти черты еще многозначительнее интимного обеда, подсмотренного великим князем в щелочку, просверленную им в стене, когда временщик сидел напротив императрицы в халате. Но, повторяю, нет безусловных доказательств, подтверждающих эти указания. Капрал кадетского корпуса и один из придворных лакеев были наказаны розгами за то, что рассказали виденное великим князем, и этот пример внушил, конечно, современникам величайшую сдержанность. В 1747 г., собрав сведения по приказанию Версальского кабинета, д'Аллион сообщил, что этот брак считается достоверным, и полагал, что при совершении обряда присутствовали Шувалова и Лесток. Он полагал также, что Елизавета когда-нибудь и объявит всенародно об этом браке и разделит царский венец со своим супругом, но это предположение не осуществилось, а Шувалова и Лесток молчали.

Когда при воцарении Екатерины II от Разумовского потребовали документы, находившиеся, по предположениям, у него и на которые часть приближенных новой императрицы думала опереться, чтобы убедить ее выйти замуж за Орлова, он, согласно рассказу, воспроизведенному мною в другом труде, предал пламени таинственное содержание одной шкапулки. Так этот вопрос и остался неразрешенным.

Я не считаю этот вопрос положительно разрешенным даже целым сводом показаний, собранных в 1744 г. в одном из многочисленных политических процессов того времени и утверждающих, что тотчас же по восшествии Елизаветы на престол и еще до ее коронации обряд венчания был совершен над ней и Разумовским Кириллом Флоринским, назначенным по этому случаю архимандритом Троицкой Лавры и членом Синода. Среди авторов этих показаний нет ни одного очевидца. Все они передавали лишь слухи.

С другой стороны Бирон и Анна Иоанновна, Потемкин и Екатерина, до Елизаветы и после нее, представляли в глазах общества и в интимной жизни то же явление и давали пищу точно такой же легенде. Право Разумовского на особое место в истории фаворитизма стоит, как мне кажется, в связи с необыкновенной простотой, проявленной им в течение его удивительной жизни. Он не забывал своего скромного происхождения и не старался, чтобы о нем забыли и другие. Возведенный в 1744 г. в графы Священной Империи патентом Карла VII, производившим его в потомки княжеского рода, он первый обратил в шутку эту фантастическую генеалогию. Он не стыдился своих родных, несмотря на всю их простоту, но и не навязывал их. Одну из своих сестер, Авдотью, он назначил фрейлиной, а из брата Кирилла, отправленного за границу, где ему дали самое тщательное образование, он сделал человека, естественно стоящего на дороге ко всем почестям. В 1744 г., когда Елизавета пробыла две недели в Козельце, близ Лемеш, он позаботился, чтобы его родня не надоедала ей. Он собирал их в доме, выстроенном им в родном селе, и там предавался с ними семейным излияниям. Он не забыл своего первого учителя, дьячка в Лемешах, хотя ему с трудом удалось удовлетворить его честолюбие. Приехав в Петербург и побывав в опере, дьячок потребовал места капельмейстера в этом учреждении, вероятно, в силу теории пропорционального возвышения, зарождавшейся в его скудном уме. Во время посещения дома бывшего гофмаршала Левенвольда Елизавета с изумлением увидела, как фаворит бросился на шею дворецкому и стал его целовать.

– Вы в уме ли?

– Это мой старый друг.

Произведенный в фельдмаршалы в 1757 г., он благодарил государыню, говоря: «Лиза, ты можешь сделать из меня что хочешь, но ты никогда не заставишь других считаться со мной серьезно, хотя бы как с простым поручиком».

Он был нрава насмешливого, хотя и без тени злобы, и обладал собственным очень широким философским взглядом, полным снисходительной и иронической беспечности. Не любя игру и относясь равнодушно к выигрышу, среди богатства, которым он был засыпан, он держал банк, чтобы доставить удовольствие своим гостям, и, позволял грабить себя без стеснения, причем гости мошенничали, играя в карты, либо просто набивали карманы золотом, валявшимся на столах. Порошин утверждает в своих «Записках», что видел, как князь Иван Васильевич Одоевский наполнил свою шляпу золотыми монетами и затем передал ее своему лакею, ожидавшему в передней. В особенности ревностно занимались этим женщины, и тот же автор называет среди самых беззастенчивых из них Настасью Михайловну Измайлову, рожденную Нарышкину, бывшую подругу Елизаветы.

Алексей Григорьевич был бы образцовым фаворитом, не будь его пристрастия к вину. Он предавался этой страсти обыкновенно на охоте и тогда, забывая свою доброту, шел по следам отца. Когда, получив приглашение на охоту, граф Петр Шувалов не мог от казаться от участия в ней, то жена его ставила свечи в его отсутствие и по возвращении его служила молебен, если праздник обходился без палочной расправы. Салтыков, будущий победитель Фридриха II, был бит Разумовским и создал себе незаслуженную славу труса за то, что ему не отомстил. Но как ему было мстить? Фаворит был неуязвим.

Никогда Алексей Григорьевич непосредственно не вмешивался в политику. Однако одно пребывание его около Елизаветы от 1742 до 1757 года имело огромное значение: он поддерживал Бестужева. Иногда он, по ходатайству Дубянского, поддерживал интересы и церкви. В силу своего положения, он роковым образом оказывался замешанным в борьбу политических партий. Потому его имя постоянно примешивается к процессам и кровавым событиям данного царствования. Вследствие его положения как предполагаемого супруга Елизаветы наследники императрицы и их приверженцы, естественно, смотрели на него подозрительно. Когда дом, где великий князь и великая княгиня жили в Гостилицах, провалился по вине архитектора, владелец Гостилиц был заподозрен в составлении заговора; в толпе распространились про него оскорбительные и компрометирующие слухи, и у судей и палачей закипела работа.

Один из этих процессов, происходивших в 1753 г., наводит нас на след довольно странного происшествия. Некая Авдотья Никонова, крепостная помещика Бачманова, показала, что в Тихвинском монастыре живет женщина по имени Лукерья Михайловна, выдававшая себя за дочь персидского царя и жену Алексея Разумовского. Она была будто бы насильно выдана за него замуж самой Елизаветой вследствие того, что на ней хотел жениться великий князь; в подтверждение своих рассказов она показывала письма, полученные ею от своего мужа и от племянника императрицы. В ту эпоху ходили еще более странные и совершенно фантастические слухи, и данный рассказ не заслуживал бы нашего внимания, не будь того удивительного факта, что Лукерья Михайловна была объявлена невинной, а Никонова была наказана кнутом и сослана неизвестно куда. Между тем обвинения ее не были, по-видимому, выдуманы ею целиком. Они связаны с историей знаменитой княжны Таракановой, предполагаемой дочери Елизаветы и Разумовского, необыкновенная судьба которой была уже мною рассказана, она впервые появилась в Европе под видом персидской принцессы.

Безусловно, в том виде, в каком эти события отразились в легенде и в последовавших за ней многочисленных попытках воспроизвести их исторически, они не выдерживают критики. Прежде всего село Таракановка, чьим именем была будто бы названа загадочная княжна, не существует ни в Черниговской губернии, где его думали найти, ни в одном из поместий, пожалованных Елизаветой своему любимцу. Само слово «таракан» чуждо малороссийскому языку. Зато в Великороссии существовала в то время довольно известная семья Таракановых. При Анне Иоанновне отличился генерал, носивший эту фамилию. Другие биографические подробности, циркулировавшие в обществе, имеют за собой

не более прочное основание. Два раза историк Снегирев упоминал о монахини Досифее, сосланной в 1785 г. тайным указом Екатерины II в Иоанновский монастырь и умершей в нем или в 1810 г., согласно надписи на ее могиле, или в 1808 г., согласно легенде о портрете, сохранившемся будто бы в монастыре и носившем следующее указание: «Принцесса Августа Тараканова, в иноцех Досифея». К сожалению, найти этот портрет оказалось невозможным; что же касается могилы и предания, слышанного Снегиревым по этому поводу, то русские монастыри насчитывают их сотнями. В семье Разумовских сохранилось другое предание о двух княжнах Таракановых, воспитывавшихся в Италии под надзором некоей Лопухиной и предательски похищенных из Ливорно Алексеем Орловым. Эта версия и наиболее распространенная. Одна из сестер будто бы утопилась во время переезда из Ливорно в Петербург; другая же, спасенная матросом, нашла убежище сперва у своей наставницы, уже вернувшейся в Петербург, затем в Никитском монастыре, где она всегда носила на себе бумаги, сожженные ею перед смертью. Но бесконечной цепью размножаются и другие воплощения загадочной княжны. В сельце Пучеже (Костромской губернии), в Казани и в иных местах они появляются в различных видах.

Общее их происхождение следует, пожалуй, искать в автобиографической заметке историка Шлецера. Он был в начале своей жизни наставником детей Кирилла Разумовского и рассказывает, что однажды в Женеве, где он тогда находился со своими питомцами, четыре сына Елизаветы, путешествуя под именем князей Т.....вых, обедали с ним и с неким Д.....лем, служившим им ментором и, по-видимому, воспитавшим из них больших шалопаев. Ключ к этой тайне находится в письме из Женевы от 10 ноября 1761, написанном графу Алексею Разумовскому его четырьмя племянниками, подписавшимися: Андрей Закревский, Кирилл Стрешенцов, Иван Дараган, Григорий Закревский, где они жалуются на своего наставника Дитцеля. Имена эти принадлежат фамилиям, еще существующим в России и происшедшим от браков, заключенных сестрами временщика. К тому же мы узнаем из камер-фурьерского журнала, что в царствование Елизаветы фамилия Дараган была переделана в Дараганова. Этой фамилией, вероятно, обозначили всех племянников Разумовского, а немецкое произношение исказило русское произношение этого слова. Дитцель, со своей стороны, чтобы придать себе важности, может быть, выдавал своих питомцев за детей Елизаветы.

Записка о лже-царевне, напечатанная в «Чтениях Общества истории и древностей российских» и переведенная на немецкий язык графом Бреверном, могла бы, пожалуй, разрешить все сомнения, будучи составлена по документам, собранным по приказанию Александра I в эпоху, когда подобного рода исследования отличались большой искренностью и правдивостью. Однако оригинал, русское и немецкое издание не вполне совпадают между собой, и версия, напечатанная в Берлине, содержит подробности, о которых умалчивается в Москве, и все-таки представляет еще пробелы. В общем, совокупность данных, взятых здесь и в иных местах, как бы указывает на то, что Екатерина Алексеевна Тараканова была просто искательницей приключений.

Но не имели ли Елизавета и Разумовский других детей? В 1743 г. д'Аллион думал, что напал в этом отношении на верный след: «Я только что узнал о существовании, – писал он Амело, – молодой девушки, которую императрица весьма тщательно воспитывает. Ей лет девять-десять, и ее выдают за близкую родственницу царицы». Немного позднее он положительно утверждал, что молодая девушка была, действительно, дочерью Елизаветы и что государыня собиралась выдать ее замуж за своего племянника. Этому последнего указания достаточно, чтобы заставить нас заподозрить и все остальные. Впрочем, согласно сведениям, собранным д'Аллионом, отцом этой девочки был не Разумовский, а Шубин. Порученная сперва Яганне Шмидт, а после ссылки последней греческому купцу, она и была привезена обратно в Москву этим негоциантом, которому Елизавета дала 6000 р. Но д'Аллион

сообщает в то же время, что она была назначена фрейлиной императрицы; это нам сразу раскрывает глаза: в 1748 г. Яганна Шмидт упоминается в камер-фурьерском журнале как гувернантка племянниц Разумовского, а мы знаем, что одна из его племянниц Авдотья была сделана фрейлиной в 1743 г.

Из всех этих сомнительных сведений вытекает один лишь несомненный факт: ни один ребенок временщика никогда не фигурировал ни при дворе, ни в доме своего предполагаемого отца. Между тем сын Розумихи не был способен, как он вполне доказал, пожертвовать ради своего положения родительским чувством. Заставляла ли его Елизавета скрывать своих детей? Но почему бы она сделала это, когда во всех других отношениях она так мало заботилась о соблюдении приличий? Обладая большей сдержанностью, Екатерина, однако, была чужда подобных сомнений, и происхождение Бобринских тайной окружено не было. В 1743 г. нездоровье, случившееся у императрицы во время бала, было сочтено за признак беременности, но последствия ее не обнаружились. Позднее Карабанов указал в своих анекдотических записках на Марфу Филипповну Бехтееву и Ольгу Петровну Супоневу, как на дочерей императрицы, весьма похожих на свою мать. Отцом второй он считал бедного дворянина по фамилии Григорьев, принимавшего участие в работе по постройке Царскосельского дворца, где он и имел возможность сблизиться с императрицей. В оставшейся неизданной записке о России секретарь французского посольства в Петербурге, д'Обиньи, насчитывает до восьми детей императрицы, принятых весьма сговорчивой Яганной Петровой на свой счет. Я склонен думать, что он был жертвой известной галлюцинации порока, которая, среди общей развращенности нравов, нередко видит дурное и там, где его нет. Впрочем, никто из детей Елизаветы в истории не упоминается; следовательно, вопросы и легенды, связанные с ними, представляют интерес лишь с точки зрения того, что я назвал бы показной нравственностью слишком приветливой государыни, и являются отголоском ее нравов и романов в мнении ее современников.

Елизавета жила с Разумовским как жена с мужем и милостиво раскрывала обществу эту сторону своей интимной жизни. Но она никогда не обнаруживала столь же открыто нежных материнских чувств.

Что же касается фаворита, то он проявил относительно своего младшего брата столько чисто отцовской заботливости, что, очевидно, ему было не на кого больше ее изливать. В 1746 г., через год по возвращении своем из-за границы, где он учился в Геттингенском и Берлинском университетах и посетил Италию и Францию, молодой человек был назначен президентом Академии наук; его русские, немецкие и французские коллеги, Тредьяковский, Шумахер и Делиль приветствовали его восторженными речами. Это учреждение, говорили они, должно было ожить под его управлением и окрылиться в чудесном подъеме. Президенту было восемнадцать лет; он привез с собой из-за границы секретаря-француза, изгнанного из своей страны за юношеские шалости и прожившего в России под заимствованной фамилией Champmeslé – настоящее его имя мне неизвестно – до 1758 г., когда он переселился в Польшу. Им вдвоем пришлось бы исполнить огромную работу, чтобы оправдать лестные предположения академиков. Приговоренная с царствования Анны Иоанновны к роли, совершенно отличной от той, что ей предназначалась Петром Великим, занятая лишь обязательным сочинением поэм на разные темы и приготовлением фейерверков для придворных празднеств, Академия наук превратилась в глазах общества в подобие версальского департамента развлечений. Некоторые члены ее от этого страдали, и Кирилл Разумовский был склонен пойти навстречу их желаниям и поднять их из их униженного положения. К сожалению, его отвлекли иные занятия, более свойственные его темпераменту и воспитанию. Мы знаем, что во время его пребывания за границей его наставники ссорились между собой из-за выигрышей, играя в карты со своим питомцем, и вскоре по своем возвращении

он уже заслужил прозвище «ночного картежника и дневного биллиардщика», так и оставшееся за ним на всю его жизнь.

Повинуясь желанию Елизаветы, он вскоре женился, не очень впрочем, охотно, на внучатой племяннице государыни, Екатерине Ивановне Нарышкиной, принесшей с собой в приданое сорок четыре тысячи крестьян. Ее состояние оценивалось в шестьсот тысяч рублей годового дохода. Три года спустя, когда малороссы просили о восстановлении у них гетманства, Кирилл Разумовский показался столь же подходящим для дарования им счастья, сколь он казался способным удовлетворить Делиля и его собратьев. Он нехотя уехал из Петербурга, но впоследствии утешился в своем великолепном изгнании тем, что играл роль царька в своей области. Он издавал указы, не менее самодержавно сформулированные, чем указы Елизаветы: «Мы заблагоразсудили... Мы повелеваем...». У него был отряд телохранителей, и в своей резиденции в Батурине, лежащем теперь в развалинах, но где еще не так давно искали клад, будто бы в нем зарытый, он завел итальянскую оперу и французский театр. Он мечтал даже учредить в нем университет, но удовольствовался тем, что создал в Петербурге, где он часто появлялся, нечто весьма похожее на дом свиданий. По просьбе Екатерины, он согласился отдать часть своего дворца для устройства тайных вечеров, куда великий князь приходил вкушать запретных развлечений, в то время, как великая княгиня искала их со своей стороны. Екатерина Ивановна Разумовская каждый вечер принимала у себя и играла в карты, и таким образом под одной кровлей нередко происходило два собрания. Вскоре их стало устраиваться и по три. Екатерина сообразила, что гостеприимный и сговорчивый дом Разумовского может дать уют и ее собственным свиданиям, и она выпросила для этой цели несколько комнат в нижнем этаже, где она и устроила свой первый эрмитаж, причем великий князь никогда не подозревал об этом близком соседстве.

Относительно же Малороссии, поскольку ему то позволяли многообразные заботы хозяина дома на три отделения, Кирилл Григорьевич обнаружил похвальные намерения, практикуясь в роли администратора. Он даже занялся введением преобразований в духе справедливости и милосердия, соответствовавших его добродушному нраву. Но Украина от этого не выиграла. Кирилл Григорьевич был добр, но он подпадал под влияние алчных родных и испорченной среды, окружавшей его. Я рассказал в другом труде последующие события и окончание его карьеры, относящиеся уже к истории Екатерины II. Имя и богатство человека, вознесенного на высоту человеческого счастья, долго не продержалось в России. Разбогатев еще больше после смерти брата, Кирилл Григорьевич оставил в 1803 г. одиннадцать человек детей, а теперь последние представители этой семьи, вызванной, благодаря прихоти Елизаветы, из ничтожества, живут в Саксонии или в Австрии и не имеют уж ничего общего со своей родиной.

Алексей Григорьевич продержался в милости императрицы до последнего дня ее жизни, с некоторыми колебаниями, никогда, впрочем, не нарушавшими добрых отношений четы. Со свойственным ему смирением Разумовский никогда не настаивал на своих правах – были ли они освящены церковью или нет, – чтобы перечить Елизавете или стеснять ее свободу. Он даже намеренно способствовал возвышению И. И. Шувалова, хотя не мог питать никаких иллюзий относительно последствий этого события. С внешней стороны его положение осталось нетронутым. Елизавета по-прежнему проводила два-три дня в году в Гостилицах и праздновала день его ангела в Аничковом дворце. Но уже в 1751 г. все с изумлением узнали, что украинский правитель и правая рука Алексея Григорьевича арестован и попал в руки тайной канцелярии. Тогда поняли, что нарождается новый порядок вещей и что прошло время, когда Салтыков позволял безропотно бить себя палкой.

Да и после «случая», как тогда говорили, Ивана Шувалова Алексей Григорьевич имел многочисленных соперников. В 1742 г. Мардефельд называет Ивинского; на следующий год д'Аллион упоминает о Панине, искажая, впрочем, мало известное еще в то время имя;

Долгоруков в своих мемуарах перечисляет Петра Шувалова, Романа и Михаила Воронцовых, Сиверса, Лялина, Войчинского, Мусина-Пушкина – целый батальон. Карл Сивере, принадлежащий к голштинской семье, один из членов которой поступил на русскую службу при Петре Великом, одерживал победы над горничными Елизаветы, когда она была еще цесаревной, и когда они ходили танцевать к одному немцу, державшему кабачок. Молодой человек играл там на скрипке. Будущая императрица приняла его на службу сперва в качестве почтальона, затем дала ему другое назначение и по своем воцарении наградила его чином камер-юнкера. В этом звании он поехал в Берлин, чтобы увидеть принцессу Ангальт-Цербстскую, и дал благоприятный отзыв о будущей Екатерине II и таким образом открыл себе дорогу к блестящей карьере. Лялину посчастливилось привлечь на себя внимание Елизаветы на барке, служившей для прогулок цесаревны. Матросский костюм ему шел, и он греб с большой силой. Он умер в 1754 г. в звании камергера и с лентой Александра Невского. Войчинский был сыном кучера на службе у Екатерины I и удостоился чести везти экипаж ее дочери; не знаю, какому раскрытию его других талантов он был обязан тем, что сошел с козел и занял придворную должность. Если верить скандальной хронике той эпохи – я здесь заимствую из нее лишь факты, подтвержденные многими и согласными между собой свидетельствами, – Мусин-Пушкин был в действительности двоюродным братом Елизаветы; согласно Долгорукову – свидетелю не вполне достоверному, – у него был от нее сын, носивший сначала фамилию Федорова и переименованный впоследствии на фамилию Турчанинова, после брака с дочерью дворянина того же имени. Мардефельд уснащал свою переписку с Фридрихом различными анекдотами подобного же рода и рассказывал в подробностях истории многих мимолетных увлечений, зарождавшихся и умиравших во время беспрестанных поездок, в которых Елизавета расходовала свою жажду деятельности и искала развлечений от скуки. Мардефельд, может быть, и преувеличивает, но так много лиц вторят ему в этом отношении, что от их показаний не может не остаться следа, с которым историк должен считаться.

Некоторые из этих приключений получили, впрочем, официальную известность; между прочим то, которое чуть не сгубило нарождавшееся счастье Шувалова. Воспитанники кадетского корпуса играли в 1751 году трагедию Сумарокова. Главную роль в ней исполнил молодой Н. Н. Бекетов. Он появился в великолепном костюме, сначала играл хорошо, но затем смутился, забыл свою роль и, наконец, под влиянием непобедимой усталости заснул на сцене глубоким сном. Занавес стал опускаться, но, по знаку императрицы, его снова подняли, музыканты заиграли под сурдинку томную мелодию, а Елизавета с улыбкой, с блестящими и влажными глазами любовалась заснувшим актером. Тотчас же по зале пронеслись слова: «Она его одевала». На следующий день, узнав, что Бекетов произведен в сержанты, в этом никто уже не сомневался. Несколько дней спустя он был взят из корпуса и получил чин майора. Либреттисты герцогини Герольштейнской ничего не выдумали нового. Не прошло и месяца, как по просьбе Бестужева Алексей Разумовский, которого Екатерина уже тогда называла «бывшим фаворитом», взял его к себе в адъютанты, а жена другого адъютанта, Елагина, одела его в тонкое белье и кружева. У него появились драгоценные кольца, бриллиантовые пуговицы, великолепные часы, и ввиду того, что он происходил из бедной семьи, все уже без колебаний приписывали это быстрое повышение и богатство новому «случаю». Однако общество было право лишь наполовину. Елизавета действительно костюмировала его, когда он участвовал в трагедии Сумарокова, но далее она его гардеробом не занималась. Эту заботу взял на себя Бестужев; потерпев поражение от Шувалова в области политики, он старался найти ему соперника. Его маневр как будто удался. Возведенный в мае 1751 г. в чин полковника, Бекетов поселился во дворце, а Шувалов уехал из Петербурга. Летнее местопребывание в Петергофе, по-видимому, должно было бы упрочить счастье нового фаворита. Оно, однако, разрушило его и опрокинуло все расчеты канцлера. Любя поэзию и музыку, Бекетов вдохновился деревенским воздухом и красотой природы. Он заставлял

молодых людей петь мелодии своего сочинения и уводил их для спевков в парк. Эти экскурсии навлекли на него обвинение в разврате, распространяемое друзьями и родными Шувалова, и усеяли его лицо веснушками; Петр Шувалов вздумал воспользоваться этим, чтобы погубить неосторожного поэта. Он внушил ему опасения насчет цвета его лица, нравившегося Елизавете своею свежестью, и посоветовал ему употреблять составленные им самим белила, покрывшие прыщами все лицо Адониса. В то же время Елизавету предупредили, что здоровье ее подвергается опасности. Она в испуге уехала из Петергофа, запретив молодому человеку следовать за собой. Он заболел лихорадкой и окончательно испортил свое и без того пошатнувшееся дело словами, сказанными им в лихорадочном бреду. Но по выздоровлении его удалили от двора за «непристойное поведение». Он остался полковником и командовал под Цорндорфом четвертым гренадерским полком. При Петре III он был произведен в генералы, а при Екатерине II был назначен астраханским губернатором. Он был хорошим администратором, способствовал развитию в подчиненном ему крае виноделия, шелководства, рыбной ловли и торговли с Персией. Оставив службу в 1780 г., он жил одиноко, но роскошно в имении Отрада, близ Царицына, пожалованном ему Елизаветой, где он утешал себя в никогда не покидавшей его меланхолии литературными занятиями; плоды их, однако, до нас не дошли. Его трагедия «Эдип», как говорили, была уничтожена пожаром. Он так и не женился и оставил побочным дочерям состояние, оцененное в сто тысяч рублей годового дохода. Елизавета, – как видно, была великодушна и щедра, даже когда перечили ее естественным склонностям.

После трагикомической развязки этого приключения И. Шувалов не замедлил вновь появиться при дворе и занять прежнее место. Но биография этого фаворита не относится к этой главе. Я должен отнести ее к другой главе, где политическая роль, сыгранная им, выступит во всей своей яркости. Здесь я ограничусь лишь чертами, проливающими всесторонний свет на облик изменчивой и вместе с тем постоянной государыни, милости которой ее любимцы добивались наперерыв друг пред другом.

Я старался до сих пор исследовать чисто женственные ее черты; но за женщиной, обольстительной или загадочной, вызывающей удивление или порицание, неизменно любезной и привлекательной, скрывалась ли в Елизавете державная императрица? Постараюсь выяснить это.

IV. Дарования и политическая роль Елизаветы

Она была прежде всего дочерью Петра Великого, озабоченная, в особенности в начале своего царствования, тем, чтобы не посрамить его имени и наследия, на которые она предъявила права. Ее поклонение своему великому отцу доходило до мелочности; так, например, она иногда подписывала свои письма именем «Михайлова», потому что Петр, путешествуя за границей, взял псевдоним «Михайлов». Но для того, чтобы эта страсть к подражанию распространилась на более серьезные предметы, Елизавете недоставало не одного только гения. За отсутствием гениальности она обладала все-таки здравым смыслом, хитростью, некоторыми еще более тонкими свойствами ума, например, искусством, составившим впоследствии отличительную черту Екатерины II, устанавливать тщательно охраняемой границу между своими чувствами и даже страстями с одной стороны и своими интересами с другой. Образчиком этого может служить ее поведение с маркизом Шетарди; она расточала этому товарищу черных дней почти чрезмерные знаки дружбы и благодарности, предоставляя ему и публично, и в своем тесном кругу привилегированное положение, и вместе с тем в области политики она перешла на сторону злейших врагов его и Франции и предала его им. Ниже я вернусь к этому вопросу.

Она отличалась большой скрытностью. Никогда не была она так любезна с людьми, как в ту именно минуту, когда готовила им опалу или гибель. Но это опять-таки принадлежит к области вечно женственного.

У нее также было и чрезвычайно высокое понятие о своем царском достоинстве. Павел I, говоря впоследствии: «В России значительным человеком является только тот, с которым я говорю и пока я с ним говорю», повторял лишь заученный урок. Она нередко произносила подобные фразы. Так по поводу великого канцлера, о титуле которого говорили в ее присутствии, она заметила: «В моей империи только и есть великого, что я да великий князь, но и то величие последнего не более, как призрак».

Это чувство было у нее весьма искренно, вместе с тем менее лично, чем у Петра I. Она в нем отождествляла себя со своим народом, считая его чем-то высшим всех измеряемых величин и ценностей, а себя естественным олицетворением этого народа в глазах мира. Но она понимала, что тождественность эта была лишь случайная и преходящая, вследствие чего она не проявляла относительно будущего надменного равнодушия Петра. Она беспрестанно была озабочена вопросом о престолонаследии и огорчалась тем, что ей не удалось его лучше обеспечить. В ней было меньше гордости и вместе с тем она обладала более верным сознанием своей роли и своих обязанностей, и более глубокой любовью к своей родине. Она любила ее, гордилась ею и, несмотря на самые страшные испытания, оказалась неспособной предать ее интересы.

В 1746 г., в то время, когда ему трудно было быть особенно довольным государыней, д'Аллион подчеркнул с меткостью, не лишенной недоброжелательства и вследствие этого тем более убедительной, эти основные черты умственной и нравственной организации Елизаветы, которая в глазах менее внимательного наблюдателя могла казаться находящейся во власти всяких прихотей и случайностей: «Императрица, по-прежнему прекрасная, бесконечно приветливая, соединяющая всевозможные чары с незаурядной величавостью, могла бы легко составить счастье своего народа..... если бы она могла согласовать свою страсть к удовольствиям с обязанностями державной власти. Родившись под этими небесами, она должна по необходимости быть скрытной и недоверчивой. Все ее поступки пропитаны необыкновенной гордостью. Франции пришлось убедиться, что чувство благодарности ей чуждо. Она не проявляет предпочтения какой бы то ни было иностранной нации. Она очень любит свой народ и еще больше его боится».

Пятнадцать лет спустя французский автор воспоминаний, появившихся до сих пор лишь на русском языке, приходит к тем же заключениям. Описав внешние привычки Елизаветы, ее любовь к французским модам и упомянув о тех выводах, которые можно было бы сделать на этом основании относительно ее чувств, он пишет далее: «По-видимому, она исключительно, почти до фанатизма, любит один только свой народ, о котором имеет самое высокое мнение, находя его в связи с своим собственным величием».

До фанатизма! Это слово следует запомнить; оно, на мой взгляд, содержит единственно возможное объяснение явления, не поддающегося иному историческому толкованию; а именно: почему политическое величие России осталось непоколебимо и даже возросло среди обстоятельств, по-видимому, наиболее благоприятных для его гибели. В этом слове я вижу источник энергии и силы сопротивления, которая, невзирая на видимый беспорядок, бестолочь и ту бездну, куда под управлением подобной государыни должны были бы провалиться страна и расстроиться все органы управления, не только сохранила нетронутым организм, пересозданный Петром Великим, и обеспечила его развитие, но и увеличила его мощь настолько, что сделала его способным наносить удары, колебавшие Европу.

Лень Елизаветы и ее нерадение в делах все увеличивались со времени ее воцарения. Выше было отмечено свойственное ей сознание своих обязанностей. Да не обвинят меня здесь в противоречии себе. Сознание долга и добродетель – понятия не тождествен-

ные, даже в приложении к одним и тем же вещам, и в истории вечно женственного *video meliora proboque, deteriora sequor* Медеи занимает не последнее место. Впрочем, те из биографов дочери Петра Великого, которые изобразили ее безусловно предоставившей все дела своим министрам и фаворитам, согрешили против истины. Подобное безусловное отречение от управления никогда не имело места. Хотя подобное обезличение возможно даже при самодержавном режиме в некоторых зачаточных фазисах, как то доказал Петр II, оно стало фактически неосуществимым после Анны Иоанновны, при организованном правительстве, ставшим живым, деятельным и цельным. Такого рода организмы не могут обходиться без центрального двигателя, и в данном режиме этим центром является государь. Он – главное жизненное начало и главный орган движения. Если он находится в покойном состоянии, то ничего не двигается; а с его исчезновением наступает общая смерть.

В начале своего царствования Елизавета проявила даже большую деятельность. За 1741 и 1742 г. она, правда, лишь семь раз присутствовала на заседаниях Сената; но, приезжая в одиннадцать, а то и в девять часов утра, она слушала прения до самого обеда. Журнал коллегии иностранных дел за 1742–43 г. указывает на ее постоянное участие в обсуждении дел. Ей посылают ежедневно доклады. Она делает на них пометки; она точно также читает все черновики депеш, посылаемых ее заграничным агентам; отдает приказания. Еще в 1748 г. она делает собственноручную пометку на докладе, посланном ей Бестужевым. Дело касается предполагаемого брака между принцем Августом Голштинским и принцессой Луизой, сестрой датского короля. Канцлер дает благоприятное заключение, предполагая, что таким путем принц легче добьется Люнского архиепископства, на которое зарится Пруссия, и Данию можно будет уговорить соединиться с Россией против Швеции. Елизавета же держится иного мнения: «Над этим следует подумать. Мы знаем принца; его можно повернуть в какую угодно сторону. Не кроется ли здесь, наоборот, интрига со стороны Пруссии и Франции, дабы поссорить нас с Данией? Приходите, поговорим об этом». Из этого следует, что она не полагается на решения министра и не принимает и своих решений легкомысленно. У нее есть свои собственные мнения, и она, по-видимому, настаивает на них, когда находит их справедливыми: вышеупомянутые брачные предположения не кончаются ничем.

Однако уже в 1742 г. тот же Бестужев горько жалуется саксонскому министру Пецольду на беспечность и рассеянность ее величества. Она хочет быть в курсе всех дел; она даже настаивает на том, чтобы ничего не решалось помимо нее; затруднение состоит лишь в том, чтобы найти время для серьезных прений, в которых она хочет принимать участие, среди занимающих ее пустых удовольствий. Для нее составляются доклады; указы ждут ее подписи; начатые переговоры ждут ее внимания; но ознакомление с ними, росчерк пера, решительное слово, вымаливаемые у нее, и без которых обойтись невозможно, заставляют себя ждать, бумаги накапливаются, запоздания осложняют дело; возобновление трактата с Пруссией, не терпящее отлагательства, договор с Англией, грозящий расстроиться, все откладываемый ответ на десять промеморий австрийского посла, угрожающих разрывом, – все застывает и вперед не двигается.

Тут мы нападаем на главную причину, мешавшую дочери Петра Великого согласовать свои поступки со своими чувствами; ей на это не хватает времени. Она не была вынужденной, подобно своему отцу, все делать самой, и что ей достаточно было бы несколько часов в день, чтобы вставить в печь или вынуть из нее хлеб, замешанный другими с большим или меньшим умением или старанием. Но откуда взять эти несколько часов? Она на балу, она на охоте, она одевается, она в церкви; она бежит туда, сюда, расходуя себя в безостановочной оргии передвижений и удовольствий. Она неуловима. Ей недостает времени, а также и силы сосредоточить свое внимание среди водоворота, закружившего ее жизнь. В январе 1743 г. д'Аллион спрашивает ее, какие она имеет известия относительно важного документа,

переданного им ей в руки и касающегося ее личной безопасности, который она хотела сама переслать в Швецию.

– Что ответили из Стокгольма?

– Боже! я забыла послать бумагу!

Месяц спустя французский поверенный подходит к государыне на маскараде, чтобы поговорить с ней о деле, по-видимому, очень заинтересовавшем ее. Сперва она его слушает, но вскоре он замечает, что она уже не следит за его речью; с нею заговаривает домино, и она с ним исчезает.

В области внутренних дел то же желание все узнать, войти во все мельчайшие подробности наталкивается на те же препятствия. С начала 1746 года и до конца его каждый раз, как она встречает прокурора Синода Шаховского – а встречает она его несколько раз в неделю, – она извиняется: «Я виновата, все забываю о своем деле». Между тем дела Синода ей особенно дороги.

В марте 1742 г., уезжая из Петербурга в первый раз по своему восшествию на престол, она встревожена, озабочена, она даже плачет, садясь в сани. Как возвратится она в свою столицу? Да и удастся ли ей вернуться, в нее? Тем не менее она уезжает, потому что в Царском ее ожидает бал, и она танцует на нем до упаду.

Удастся ли Сенату или коллегии иностранных дел овладеть ее неуловимой особой и ее умом, подобным блуждающему огоньку, она ускользает самым неожиданным образом, иногда окольными путями. Как во внутренних делах ей дорог Синод, так во внешних ей дорога Голштиния, и ее, наверно, можно заинтересовать, говоря о ней. Но она тотчас вспоминает о драгоценных камнях, вошедших в приданое ее сестры, покойной герцогини Голштинской. Они пропали, и она требует, чтобы их отыскали. Дело идет о наследстве шведского престола для герцога Голштинского. Но сперва драгоценности! Она хочет знать, куда они исчезли.

Впрочем, неизвестно, как и почему, коллегия иностранных дел занимается покупкой бриллиантов за счет государыни, и в то же время канцелярия Сената заботится о воспитании двух медвежат, предназначенных для развлечения ее величества. Они должны научиться ходить на задних лапах и прыгать через палку. Другие указы, составленные в том же учреждении тайным советником Черкасовым, касаются снабжения провизией и сладостями императорского стола, выписываются персики, апельсины и устрицы из Кронштадта, раки из Украины, причем для скорейшей доставки их организуются отдельные смены лошадей от Батурина до Петербурга.

А пока путешествуют раки, раздается хор жалоб на медлительность Елизаветы в канцеляриях Сената, в коллегии иностранных дел и в посольствах, все усиливаясь до конца царствования. За исключением Шаховского, воспроизведшего слабое эхо этого хора в своих воспоминаниях, коллеги барона Черкасова не поверили потомству тайны своего нетерпения и досады; зато товарищи д'Аллиона не были столь скромны, и у них я почерпнул свидетельства действительно отягчающие память слишком легкомысленной императрицы.

«Она ненавидит работу, и заставить ее подписать какой-нибудь указ или бумагу так же трудно, как написать оперу, ввиду того, что она думает исключительно о своих удовольствиях, – пишет Мардефельд в марте 1742 г. – Все находится в крайнем беспорядке; ни одно дело не закончено».

В то же время посланник Марии-Терезии Гогенгольц теряет надежду когда-либо добиться аудиенции. Императрица кочует из одного загородного дома в другой, и за нею невозможно поспеть.

«Мы совсем не занимаемся делами; бал, маскарад или опера занимают все наши мысли», – жалуется англичанин Тироули в 1744 г.

В ноябре 1747 г. дипломатический мир ждет заключения трактата с Австрией, т. е. подписи государыни на документе, все пункты которого давно уже одобрены ею. Остается

начертать лишь несколько букв. Но ее величество поглощена празднествами по случаю бракосочетания ее двоюродной сестры Гендриковой с Соймоновым, ничтожеством, получившим по этому случаю звание камер-юнкера и бригадирский чин. Рассчитывают на пост, когда прекратятся балы и маскарады. Но – о ужас и разочарование! Едва женившись, Соймонов бьет свою жену и призывает к ответу Иоганну Шмидт за то, что она недостаточно зорко охраняла добродетель своей бывшей питомицы. Досада Елизаветы, арест виновного и опять-таки потеря времени!

В 1750 г. в разговоре с другим посланником Марии-Терезии графом Бернесом, тоже тщетно добивавшимся аудиенции, Бестужев изливает всю свою горечь. «Вы находите, что дела моей коллегии плохо идут, – говорит он. – Если бы вы видели остальные! Благодаря доверию, которым меня облакает государыня, у меня зло, может быть, до некоторой степени и поправимо. В других областях империя положительно приходит в упадок. Если бы ее величество посвящала управлению страны сотую долю времени, отдаваемого вашей повелительницей управлению своего государства, я был бы счастливейшим из смертных. При настоящем же положении вещей терпение мое истощается, и я решил выйти в отставку через несколько месяцев».

Это последнее сообщение заставляет заподозрить подлинность предыдущего. Так, одному из преемников графа Бернеса, барону Претлаку, пришлось наблюдать при совершенно ином освещении действительные отношения, установившиеся между Елизаветой и ее первым министром. Ему казалось, что недочеты происходили благодаря собственной лени канцлера и вследствие того, что он, наоборот, поощрял страсть императрицы к удовольствиям, отвечавшую его личной склонности к распутной жизни. Но после двухлетнего опыта он тем не менее увидел, что императрица не посвящала и четверти часа в день государственным делам.

В 1758 г. после падения Бестужева его счастливый преемник, Воронцов, держал маркизу Лопиталю приблизительно ту же речь: «Вы не поверите, сколько хлопот доставляет мне нерешительность и медлительность ее величества... Хотя бы я и думал, что какое-нибудь дело окончательно слажено в тот вечер, когда я вас вижу, я все же не смею вам это сказать, зная по опыту, что на следующий день все может измениться».

С годами внешние причины, отделявшие государыню от всякого серьезного занятия, – беспрестанные разъезды и расходование сил на пустяки, заменились внутреннею причиною, существовавшей и раньше, но постепенно возраставшею в силу развития некоторых черт характера государыни, отмеченных выше: лени, нерешительности, склонности к суеверию и преувеличенной, до болезненности, заботы о своей красоте и здоровье. Согласно свидетельству Воронцова, беспечность и нерешительность Елизаветы чуть не лишили ее престола. История осы, севшей на перо императрицы в ту минуту, когда она подписывала первые буквы своего имени под трактатом 1746 г., заключенным с Австрией, и заставившей ее отложить окончание своей подписи на шесть недель, знаменита и типична, даже если предположить, что маркиз Бретейль ее сочинил. К концу царствования подобные анекдоты умножаются до бесконечности в легендах того времени, и умственное расстройство, указанием которой они безусловно служат, все усиливается. «Она (Елизавета) родилась ленивой, нерешительной и неспособной на ведение больших дел, – писал Лопиталь. – Она не знает действительных интересов своей империи и живет изо дня в день, занимаясь своим здоровьем и своей красотой, увядающей с каждой минутой... Она начинает огорчаться своим состоянием... Ее стараются развеселить, но она от всего отказывается и предпочитает оставаться у себя. Она полна сомнений и мелкой набожности. То она поклоняется одному святому, то другому. Она окружена мощами и образами. Она часами стоит перед одним из них... говорит, советуется с ним. В одиннадцать часов вечера она приезжает в оперу, ужинает в час, ложится в пять, и бразды правления предоставлены ею воле судеб... Все дела идут

как попало. Окруженная льстецами и невеждами, постоянно кадящими перед нею фимиам, она не может свыкнуться с мыслью, что она постепенно теряет красоту, которую она поддерживает по мере сил с помощью всех тонкостей искусства. Она тратит на это бесконечно много времени и становится доступной лишь после того, как ее туалеты и украшения заслужили одобрения ее зеркала и приближенных дам».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.